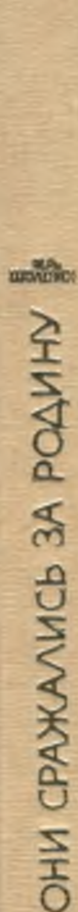


М.А.ШОЛОХОВ

# ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Нижне-Волжское
книжное
издательство

МШолохов

М.А.ШОЛОХОВ

# ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Главы из романа

ВОЛГОГРАД 1979

Художественное оформление серии В. Э. Коваля

Текст печатается по изданию:
М. Шолохов. «Они сражались за Родину»,
М., «Современник», 1976.

Перед рассветом по широкому суходолу хлынул с юга густой и теплый весенний ветер.

На дорогах отпотели скованные ночным заморозком лужи талой воды. С хрустом стал оседать в оврагах подмерзший за ночь последний, ноздреватый снег. Кренясь под ветром и низко пластаясь над землей, поплыли в черном небе гонимые на север черные паруса туч и, опережая их медлительное и величавое движение, со свистом, с тугим звоном рассекая крыльями повлажневший воздух, наполняя его сдержанно радостным гомоном, устремились к местам вечных гнездовий заждавшиеся на полдороге тепла бесчисленные стаи уток, казарок, гусей.

Задолго до восхода солнца старший агроном Черноярской МТС Николай Стрельцов проснулся. Жалобно скрипели оконные ставни. В трубе тонко скулил ветер. Погромыхивал плохо прибитый лист железа на крыше.

Стрельцов долго лежал на спине, закинув руки за голову, бездумно глядя в сумеречную предрассветную синеву, вслушиваясь то в порывистые всплески ветра, бившегося о стену дома, то в ровное, по-детски тихое дыхание спавшей рядом жены.

Вскоре по крыше дробно застучали дождевые капли, ветер немного притих, и стало слышно, как по водосточному желобу с захлебывающим-

ся бульканьем клокочет, журчит вода и мягко и тяжело падает на отсыревшую землю.

Сон не приходил. Стрельцов поднялся, тихо ступая босыми ногами по скрипящим половицам, прошел к столу, зажег лампу, присел выкурить папиросу. Из щелей между небрежно подогнанными половицами тянуло острым холодком. Стрельцов неловко поджал голенастые ноги, потом устроился поудобнее, прислушался: дождь шел не только не ослабевая, но все более усиливаясь.

«Хорошо-то как! Еще прибавится влаги»,— довольно подумал Стрельцов и сейчас же решил поехать утром в поле, посмотреть озимые колхоза «Путь к коммунизму» да кстати заглянуть и на зябь.

Докурив папиросу, он оделся, обул короткие резиновые сапоги, накинул брезентовый плащ, но шапку никак не мог найти. Долго искал ее под вешалкой в полуосвещенной передней, за шкафом, под столом. В спальне, тихонько проходя мимо кровати, на минуту остановился. Ольга спала, повернувшись лицом к стене. По подушке беспорядочно разметались белокурые, с чуть приметной рыжинкой волосы. Ослепительно белое плечико ночной рубашки, почти касаясь коричневой круглой родинки, глубоко врезалось в полное смугловатое плечо.

«Не слышит ни дождя, ни ветра... Спит так, как будто совесть у нее чище чистого»,— подумал Стрельцов, с любовью и ненавистью глядя на затененный профиль жены.

Он постоял еще немного возле кровати, закрыв глаза, с глухой болью на сердце воскрешая в памяти несвязные и, быть может, не самые яркие воспоминания о недавнем счастливом прошлом и всем существом своим чувствуя, как медленно и неудержимо покидает его тихая радость, навеянная вот этим предрассветным дождем, бурным ветром, ломающим зимний застой, преддверием трудной и сладостной работы на колхозных полях...

Без шапки Стрельцов вышел на крыльцо. Но не так, как в былые годы, воспринял он теперь свист утиных крыльев в аспидном небе, и уже не с прежней силой охотничьей страсти взволновал его стонущий и влекущий в неведомую даль переклик гусиных стай. Что-то было отравлено в его сознании за тот короткий миг, когда смотрел в родное и в то же время отчужденное лицо жены. Иначе выглядело сейчас все, что окружало Стрельцова. Иным казался ему и весь необъятный, весь безбрежный мир, проснувшийся к новым свершениям жизни...

Дождь все усиливался. Косой, мелкий, спорый, он по-летнему щедро поил землю. Подставив открытую голову дождю и ветру, Стрельцов жадно шевелил ноздрями в тщетной надежде уловить пресный запах оттаявшего чернозема,— нахолодавшая земля была бездыханна. И даже первый после зимы дождь — бездушный и бесцветный в предутренних сумерках — был лишен того еле приметного аромата, который так присущ весенним дождям. По крайней мере так казалось Стрельцову.

Он накинул на голову капюшон плаща, пошел к конюшне, чтобы подложить коню сена. Воронок зачуял хозяина еще издали, тихо заржал, нетерпеливо перебирая задними ногами, гулко стуча подковами по деревянному настилу пола.

В конюшне было тепло и сухо. Пахло далеким летом, степным улежавшимся сеном, конским потом. Стрельцов зажег фонарь, положил в ясли сена, сбросил с головы капюшон.

Коню было скучно одному в темной конюшне. Он нехотя понюхал сено, всхрапнул и потянулся к хозяину, осторожно прихватывая шелковистыми губами кожу на его щеке, но, наткнувшись нежным храпом на жесткую щетину хозяйских усиков, недовольно фыркнул, жарко дохнул в лицо пережеванным сеном и, балуясь, стал жевать рукав плаща. Будучи в добром духе, Стрельцов всегда разговаривал с конем и охотно принимал его ласки. Но сейчас не то

было у него настроение. Он грубо оттолкнул коня и пошел к выходу.

Еще не убедившись окончательно в дурном расположении хозяина, Воронок игриво повернулся, загородил крупом проход из станка. Неожиданно для самого себя Стрельцов с силой ударил кулаком по конской спине, хрипло крикнул:

— Разыгрался, черт бы тебя!..

Воронок вздрогнул всем телом, попятился, часто переступая ногами, пугливо прижался боком к стенке. Чувство стыда за свою неоправданную несдержанность шевельнулось в душе Стрельцова. Он снял висевший на гвозде фонарь, но не погасил его, а зачем-то поставил на пол, присел на лежавшее возле двери седло, закурил. Спустя немного сказал тихо:

— Ну, извини, брат, мало ли чего не бывает в жизни...

Воронок круто изогнул шею, вывернул фиолетово поблескивающее глазное яблоко, посмотрел на понуро сидящего хозяина, потом стал лениво пережевывать хрупающее на зубах сено.

Грустно пахло на конюшне увядшими степными травами, по-осеннему шепелявил, падая на камышовую крышу, частый дождь, брезжил мутный, серый рассвет... Стрельцов долго сидел, уронив голову, тяжело опираясь локтями о колени. Ему не хотелось идти в дом, где спит жена, не хотелось видеть ее рассыпанные по подушке белокурые, слегка подвитые волосы и эту страшно знакомую круглую родинку на смуглом плече. Здесь, на конюшне, ему было, пожалуй, лучше, покойнее...

Он распахнул дверь, когда почти совсем уже рассвело. Грязные клочья тумана висели над обнаженными тополями. В мутно-сизой мгле тонули постройки МТС и еле видневшийся вдали хутор. Зябко вздрагивали под ветром опаленные морозами, беспомощно тонкие веточки белой акации. И вдруг в предрассветной тишине, исполненное нездешней печали, долетело из выш-

ней, заоблачной синевы и коснулось земли журавлиное курлыканье.

У Стрельцова больно защемило сердце. Он проворно встал и долго, напрягая слух, прислушивался к замирающим голосам журавлиной стаи, потом глухо, как во сне, застонал и проговорил:

— Нет, больше не могу! Надо с Ольгой выяснить до конца... Больше не могу я! Нет моих сил больше!

Так безрадостно начался первый по-настоящему весенний день у раздавленного горем и ревностью Николая Стрельцова. А в этот же день, поутру, когда взошло солнце, на суглинистом пригорке, неподалеку от дома, где жил Стрельцов, выбилось из земли первое перышко первой травинки. Острое бледно-зеленое жальце ее пронизало сопревшую ткань невесть откуда занесенного осенью кленового листа и тотчас поникло под непомерной тяжестью свалившейся на него дождевой капли. Но вскоре южный ветер прошелся низом, влажным прахом рассыпался отживший свое кленовый лист, дрогнув, скатилась на землю капля, и тотчас, вся затрепетав, поднялась, выпрямилась травинка — одинокая, жалкая, неприметная на огромной земле, но упорно и жадно тянущаяся к вечному источнику жизни, к солнцу.

Около скирды соломы, где почва еще не отошла от морозов, трактор «ЧТЗ» круто развернулся и, выбрасывая траками левой гусеницы ледяную стружку, перемешанную с жидкой грязью и соломой, ходко пошел к загону. Но в самом начале загона резко осел назад и, с каждым рывком все глубже погружаясь в черную засасывающую жижу, стал. Синий дым окутал корпус трактора, витым полотнищем разостлался по бурой стерне. Мотор заработал на малых оборотах и заглох.

Тракторист шел к вагончику тракторной бригады, с трудом вытаскивая ноги из грязи, на ходу вытирая руки паклей, вполголоса бранясь.

— Я говорил тебе, Иван Степанович, что сегодня начинать не надо,— вот и засадили трактор. Черт его теперь вызволит! Будут копаться до вечера,— раздраженно говорил Стрельцов, пощипывая черные усики, с нескрываемой досадой глядя на красное, налитое лицо директора МТС.

Директор только крякнул от огорчения, но ничего не ответил. Уже подходя к вагончику, он сбоку добродушно покосился на Стрельцова, сказал:

— А ты не расстраивайся. Нечего расстраиваться по пустякам. Не утопнет твой трактор, и никакого лешего с ним не сделается! К вечеру вытянут его ребята, а через денек опять будем пробовать. Спыток не убыток. Когда-нибудь надо же начинать, или будем пыли дожидаться? Ты на озимых был?

— Был дней пять назад.

— Ну как?

— Ничего, перезимовали. Внизу, около Голого Лога, частица замокла.

— Много?

— Нет, чепуха, так, поменьше двух гектаров, но подсевать придется. Сейчас опять поеду туда, посмотрю. А через день пробовать пахать ты и не думай, Иван Степанович! Знаю, ты человек упрямый, но от этого качества почва скорее не просыхает. Я на твоем месте перебросил бы два гусеничных в колхоз «Заря». Сам знаешь, почва там серопесчаная, пахать смело можно.

Директор испуганно замахал руками:

— А перегон? А пережог горючего? Об этом ты мне лучше не говори! Шутка дело, из-за каких-то двух дней гнать тракторы за двенадцать километров! Да меня за это на бюро райкома живьем скушают! Скажут, что не сумел вовремя расставить силы, недоучел, да мало ли чего еще там не наговорят на мою голову! Нет, о переброске я и слушать не хочу.

— Значит, по-твоему, пусть лучше тут тракторы простаивают?

Директор поморщился и молча махнул рукой, показывая, что считает разговор оконченным. Он вовсе не желал слушать новые доводы Стрельцова и ускорил шаг, но Стрельцов поравнялся с ним, спросил:

— Что же ты отмалчиваешься? Молчание не аргумент в твою пользу.

— Все сказано, и давай в бригаде без диспутов.

— Хорошо. Перенесем диспут, как ты говоришь, в другое место.

— Это куда же, например?

— Ну, хотя бы в райком.

Добродушие редко покидало сангвинического директора. И на этот раз он гулко захохотал, хлопнул мясистой ладонью по плечу Стрельцова:

— Ох, и горяч ты, агроном Микола! А на горячих, знаешь, куда ездят? То-то и оно! Попробуй стукни в райком, так тебе же первому там холку намылят, да еще я нажалуюсь, что ты подменяешь меня и вмешиваешься в мои административные функции. Каково?

Неисчерпаемое добродушие покладистого Ивана Степановича всегда разоружало вспыльчивого Стрельцова. Не принимая шутки, но уже значительно мягче, он сказал:

— Я не вмешиваюсь, а советую...

Но директор прервал его:

— Главное дело — не волнуйся. При твоей тощей комплекции для тебя волноваться вредно.

Однако, увидев, что Стрельцов нахмурился, он оставил шутливый тон и заговорил по-деловому:

— Черт его знает, может быть, ты и прав. Я подумаю, потолкую с бригадиром, и если уж так, если на то дело пошло, то в ночь перекинем трактора в «Зарю». Там, безусловно, можно приступать к пахоте. Но мне-то думалось, что Романенко там сам управится. Надо ему звякнуть, узнать, приступил он к пахоте или все еще раскачивается.— И, обращаясь к подошедшему трактористу, укоризненно закачал головой:—

Ах, Федор, Федор! Как же это ты, милок, ухитрился засадить трактор! А еще тоже в танкистах служил, был отличником боевой подготовки...

Тракторист Федор Белявин неспроста был прозван друзьями «Жуком Чернявиным»: сапоги, черные ватные брюки и такая же теплушка на широких плечах, черный треух с черным кожаным верхом, вороная челка, лихо свисающая из-под треуха, и смуглое лицо в неотмываемой копоти и мазуте — все оправдывало прочно прилипшую к нему кличку.

Насмешливо щурясь, сверкая синими белками глаз и белыми до синевы зубами, он ответил:

— По твоей милости засадил, Иван Степанович! Говорили тебе все мы — и бригадир, и агроном, и все трактористы,— что не пойдет трактор, так разве тебя переспоришь? В одну душу — пробуй, и все. А теперь вот и любуйся на него да помогай выручать. Силенки у тебя хватит. Ты сам с виду как «ЧТЗ». Откормился за зиму неплохо!

— Заплакал! — невозмутимо и слегка пренебрежительно сказал директор.— Вот уж ты и слезу пустил, а девчата считают тебя героем. Напрасно считают, так я думаю... Пойдем-ка глянем, как ты его загнал.

Они вдвоем направились к трактору. Туда же шел и бригадир еще с двумя трактористами. Стрельцов нехотя зашагал к вагончику, у которого был привязан Воронок. Ему не хотелось уезжать из бригады, где было свободней дышать,— на людях и в работе он легче переносил свалившееся на него горе, но посмотреть на озимые в окрестных колхозах было необходимо, и он медленно шагал по примятой, жухлой траве, глядя себе под ноги и тщетно стараясь отогнать вновь вернувшиеся мысли о жене, об ее отношениях с учителем Овражним, обо всем том, что последнее время лежало у него на сердце, как постыдная и горькая, тяжесть, ни днем, ни ночью не шло с ума и мешало по-настоящему жить и работать.

— Оставайтесь завтракать с нами, товарищ

Стрельцов! Такой кулеш сготовила, какого вам в жизни не доводилось кушать! — крикнула бригадная стряпуха Марфа, когда понурый, сгорбленный Стрельцов проходил мимо полевой кухоньки, сложенной неподалеку от вагончика заботливыми руками какого-то тракториста — умельца по печному делу.

Стрельцов благодарно кивнул ей головой, нехотя улыбнулся:

— Налей, что ли, Марфуша, а то до вечера домой не попаду.

Он присел на нижнюю ступеньку вагончика, принял из рук стряпухи горячую миску с кашей и только тут вспомнил, что не ел со вчерашнего утра. Но, отхлебнув несколько ложек вкусной, слегка попахивающей дымком жидкой каши, поставил на землю миску и — в который уже раз за это утро — снова достал из старенького кожаного портсигара помятую папироску...

* * *

Был уже на исходе май, а в семье Стрельцовых все оставалось по-прежнему. Что-то непоправимо нарушилось в совместной жизни Ольги и Николая. Произошел как бы невидимый надлом в их отношениях, и постепенно они, эти отношения, приняли такие тяжкие, угнетающие формы, о которых супруги Стрельцовы еще полгода назад никак не могли бы даже и помыслить. День ото дня исчезала былая близость, надежно связывавшая их прежде, ушла в прошлое милая интимность вечерних супружеских разговоров, и уже ни у одного из них не возникало желания поделиться своими тревогами и заботами, неприятностями и маленькими радостями по работе. Зато чаще, чем когда-либо, иногда даже по пустяковому поводу вдруг вспыхивали ссоры и разгорались жарко, как сухой валежник на ветру, а когда наступало короткое примирение, оно не приносило облегчения и успокоенности. Недолгое затишье походило скорее на перемирие двух

враждующих сторон и не снимало ни настороженности, ни скрытой, возникавшей откуда-то из потаенных глубин взаимной неприязни.

Еле ощутимый поначалу холодок в их отношениях все больше крепчал, становился пугающе привычным. Он входил в жизнь, превращался в неотъемлемую часть ее, и с этим уже ничего нельзя было поделать. У Николая иногда возникало такое, чисто физическое, ощущение, будто он длительное время живет в нетопленной комнате, постоянно испытывая непреходящее желание побыть на солнце, погреться.

Глядя на себя как бы со стороны, он замечал, что стал и на работе и дома несдержан, чрезмерно раздражителен; все чаще в общении с людьми овладевало им чувство нетерпимости, ничем не оправданной вспыльчивости. А ведь прежде таким он не был... Впрочем, подобные изменения наблюдал он и в характере Ольги. Все это способствовало возникновению случайных пререканий, неизбежно переходивших в ссоры.

С болью, с тоскливым выжиданием Николай чувствовал, как с каждым днем Ольга отдаляется от него, уходит все дальше, а он уже не в силах ни ласково окликнуть ее, ни вернуть. И вот это сознание собственного бессилия, невозможность что-либо изменить, томительное ожидание надвигающейся развязки и делало жизнь под одной крышей и непомерно тяжелой и постылой.

Еще с весны Ольга под предлогом наступающих экзаменов проводила все свободное послеобеденное время то в школе, то у подруг-учительниц. Ребенку она почти не уделяла внимания, целиком передав его на попечение бабушки. Николаю незачем было искать предлогов, чтобы возможно реже бывать дома: весновспашка, очистка семян, сев яровых, а затем пропашных культур, забота о парах, прополка хлебов,— все это полностью поглощало его время. По утрам он со смешанным чувством облегчения и горечи покидал дом, возвращался только ночью, когда Ольга, проверив тетради, уже спала, и это обстоя-

тельство в какой-то мере помогало уменьшению стычек. Однако, избегая друг друга, внутренне опасаясь оставаться наедине, они оттягивали решающий разговор и тем самым усугубляли взаимные мучения и неустроенность в семье.

Разрыв, как видно, в равной мере страшил и Ольгу и Николая, и хотя неотвратимость его была ясна для них,— никто не хотел первым брать на себя инициативу.

Как ни странно, но теща Николая с самого начала семейного конфликта стала на сторону зятя. Несколько раз Николай, почему-либо возвращаясь домой в неурочное время, еще издали, со двора слышал отголоски бурных сцен между Ольгой и Серафимой Петровной. Но как только он брался в сенях за дверную ручку,— в доме все мгновенно смолкало. Теща, поджав губы, проходила мимо Николая, величественная и неприступная в своем материнском негодовании, а Ольга с заплаканными глазами старалась поскорее исчезнуть из дома и после долго отсутствовала, появлялась только в сумерках, чтобы не так заметно было ее опухшее и подурневшее от слез лицо.

А тут еще маленький Коля. Ребенок с прозорливостью взрослого сразу заметил наступивший между отцом и матерью разлад, но не будучи в состоянии понять его причины, потянулся к бабушке, в ее комнатке, расположенной рядом с кухней, учил уроки, там же и спал, решительно переселившись из своей комнаты под предлогом того, что ночью один боится. Николай не раз во время обеда или завтрака ловил его короткие вопрошающие взгляды, а как-то ответить на них не было возможности. Не того возраста был маленький пытливый человечек...

Ольга встречалась с Юрием Овражним не только в школе. Николай догадывался об этом, но заставить себя следить за женой не мог, не мог ни при каких условиях. Это было выше его сил. И тогда, когда она задерживалась допоздна в школе или у подруг,— он не выходил со двора, молча сидел в темноте на крылечке, курил, ждал.

За калиткой звучали стремительные шаги Ольги. Он сумел бы различить их среди тысячи женских шагов, он знал на память эту летучую, быструю поступь. И всегда, заслышав знакомый перестук каблучков, испытывал легкое удушье и словно бы замедленное биение сердца. Ольга молча проходила мимо, опахнув его запахом свежего платья, теплой вечерней пыли, а он слегка отодвигал в сторону голенастые ноги, пропускал ее и шел следом на кухню. Там они молча ужинали, изредка перебрасываясь незначащими фразами, расходились спать. Утром все начиналось снова.

За всю весну Николай встретился с Овражним только раз — случайно, на улице. Он ехал верхом на Воронке в поле, Овражний шел ему навстречу к лавке сельпо. На улице стояли лужи, ветерок гнал по ним мелкую ребристую рябь. Вода в лужах нестерпимо блестела под солнцем, нагретый воздух был щедро напитан пресным запахом талого снега, влажного чернозема. Конь разбивал копытами воду, с всплеском летели по сторонам брызги, радужно вспыхивая на солнце; смачно чавкала и выворачивалась из-под конских бабок мазутно-черными комками грязь. Вразнобой голосили петухи, где-то в ближнем дворе истомно кудахтала курица, и, пробуя силы, пел в сизой дымчатой синеве косо снижавшийся на сырую землю выгона первый жаворонок. Такая умиротворенная благодать стояла над Сухим Логом, что Николай забыл обо всем на свете, покачиваясь в седле в такт лошадиному шагу, опустив поводья, всем существом своим бездумно радуясь и прохладному ветерку, и солнцу, ненадолго скрывавшемуся за облаками, похожими на прозрачные хлопья тумана, и несмелым певческим пробам жаворонка.

А тут, увидев невдалеке осторожно пробиравшегося возле плетня, оскользавшегося по грязи Овражнего, вдруг мгновенно почувствовал жестокую спазму подступившего к горлу удушья. Мир стал странно немотным, начисто лишился звуков. Николай видел только приближавшегося

Овражнего. Видел всего с головы до ног: красивое, смугло-румяное, круглое лицо с черной полоской усов, смоляную челку, выбившуюся из-под примятого поля серой мягкой шляпы, нарядный, красно-черный четырехугольник вышивки украинской рубашки, серый в полоску пиджак, небрежно накинутый на широкие ладные плечи; видел разъезжавшиеся по грязи ноги в черных стареньких брюках и заляпанных грязью коротких резиновых сапогах. Таким Юрий Овражний и сохранился в памяти Стрельцова на всю жизнь, как мгновенно выхваченный из кадра цветного фильма. А в тот момент Николай неотрывно и жадно всматривался в лицо человека, разрушившего его жизнь, ставшего смертным врагом. Поравнявшись, Овражний весело блеснул зубами:

— Доброе утро, Николай Семенович! Ну и грязищу развезло! А еще называется это божье место Сухой Лог.

Николай хотел ответить на приветствие, но в горле у него как-то тихо и хрипло забулькало. Он сделал судорожное глотательное движение, однако так и не смог ничего сказать. А когда поднимал к козырьку правую руку, то плеть повисла на ней, будто пудовая гиря...

Проехав шагов десять, Николай оперся левой рукой о подушку седла, оглянулся. Овражний смотрел на него, придерживаясь за колышек плетня, и на резко очерченных губах его бродила неясная улыбка.

До поворота в переулок Николай ехал шагом и снова слышал и довольное пофыркивание Воронка, и неустанно воспевавшего весну жаворонка. Мир снова обрел звуки, запахи, живое дыхание... За поворотом Николай пустил Воронка крупной рысью, от хутора перевел его в намет и придержал только километра через полтора, в степи. И всадник и конь, остановившись, разом тяжело вздохнули.

«А ведь я мог его убить. Всего несколько минут назад. Вот так спешился бы, подошел вплотную, протянул руку и вместо рукопожатия схва-

тил за горло. А через мгновение он уже лежал бы в грязи подо мною. И кто бы его отнял у меня? Кто вырвал из моих рук? На улице — никого. Пока спохватились бы люди... Я сильнее, намного сильнее его. Левой рукой прижал бы правую руку к земле, и все, конец! А потом?...»

Не в меру услужливая память тотчас же на короткое мгновение подсказала, как он лет двенадцать назад, еще будучи в институте, на вечеринке у однокурсницы едва не задушил оскорбившего его товарища. Тогда он разжал руки уже в беспамятстве, только после того, как сзади нанесли ему сильнейший удар по голове увесистой табуреткой... И вновь встало перед глазами красивое лицо Овражнего, его неуверенная, блуждающая улыбка...

Николай ощутил легкую тошноту, стянул с головы фуражку. Руки его стали влажными от пота.

С той поры он старательно избегал встреч с Овражним. Не надо было искушать судьбу. Нельзя было играть чужой и своей жизнью...

А неопределенность в семье словно бы прижилась и пустила корни. И только в первых числах июня невеселую эту жизнь встряхнула неожиданно полученная из Кисловодска телеграмма от старшего брата Николая. Ее вручили Стрельцову в конторе МТС утром. «Второго поездом двадцать два вагон семь буду станции встречай обнимаю Александр».

Не в силах сдержать радостной улыбки, Стрельцов несколько торопливее, чем обычно, вошел в кабинет директора, тихонько положил на стол телеграмму.

— Жду гостя, Иван Степаныч!

Из-под очков в металлической оправе директор удивленно взглянул на Николая.

— Неужели братец едет?

— Он самый.

— Так ведь у него же путевка вроде до половины июня?

Все так же улыбаясь, Николай развел руками:

— Похоже, что не выдержал режима, удрал до срока. Там в новину не очень-то приятно; а он, насколько я помню, на курорте впервые. Он всегда предпочитал вольный отдых, охоту, рыбалку.

Директор еще раз прочитал телеграмму, сунул очки в грудной карман старенького парусинового пиджака, удовлетворенно сказал:

— Ну, что же, молодец твой брат, Микола. Он правильно рассудил. У нас он и отдохнет лучше и сердце тишиной подлечит. На нашем степном полынном воздухе, я так разумею, не только сердце, но и всякую другую хворость с успехом можно лечить. Где-то я читал, что даже граф Толстой к башкирам ездил, воздухом лечился и кумыс пил. Ну, насчет кумыса это еще как сказать... Пил я его в гражданскую войну у калмыков и так определил: решительно от него никакой пользы русскому человеку не может быть! Одна отрыжка в нос и в животе бурчание, а пользы ни на грош! Пил я из любопытства и парное кобылье молоко. Ты никогда не пробовал, Микола? Нет? И не пробуй. Голубенькая водичка, чуть сладит, пены много, а пользы от него или сытости тоже ничего не заметил, да и заметить невозможно, потому что ее нет.— Помолчал немного и для вящей убедительности добавил:— Конечно, одним воздухом, даже нашим, не прокормишься, но у нас вдобавок к воздуху не паршивый кумыс, а природное коровье молоко, неснятое, пятипроцентной жирности, яйца тепленькие, прямо из-под курицы, а не какие-нибудь подсохлые, плюс сало в четверть толщины, ну разные там вареники со сметаной, молодая баранина и прочее, да тут никакое сердце не выдержит и постепенно придет в норму. А если к этому добавить добрый борщ да по чарке перед обедом, то жить твоему братцу у нас до ста лет и перед смертью не икать! Правильное решение он принял — ехать к нам! Исключительно правильное!

Столько детски-наивной, простодушной убеж-

денности было в словах пышущего здоровьем степняка, что Николай, уже откровенно посмеиваясь, сказал:

— Я тоже так думаю, Степаныч, а как насчет машины?

— Какой может быть разговор, бери ее утром и кати на станцию встречать.

— Тебе-то самому она не понадобится?

— Я и на лошадях съезжу в случае чего, а ты бери машину. Братец-то генерал, да еще пострадавший, неудобно кое-как встречать. Скажи шоферу, пусть готовится, и езжай пораньше. Вези аккуратней, не растряси по нашим кочковатым дорогам, человек-то больной.

— Спасибо, Степаныч!

— Еще чего недоставало. С радостью тебя, Микола!

— Еще раз спасибо. Радость, действительно, для меня большая. Девять лет не виделись.

Директор встал из-за стола.

— Я — в мастерскую, а у тебя какие планы?

— Надо предупредить своих, приготовиться к встрече. Разреши сегодня побыть дома.

— Само собой. Может, чем-нибудь помочь?

— Благодарю, все есть, управлюсь сам.

Потоптавшись около стола, директор подошел к Николаю вплотную, спросил почему-то шепотом:

— Он сколько просидел, Микола?

— Без малого четыре с половиной года.

Иван Степанович горестно сморщился. Потом решительно прошагал к двери, закрыл ее на ключ, жестом пригласил Стрельцова садиться, а сам так тяжело опустился на древнее, дореволюционного изделия креслице, что оно не заскрипело, а жалобно взвыло под ним. После недолгого молчания спросил:

— Как думаешь, почему брата освободили?

Стрельцов молча пожал плечами. Вопрос застал его врасплох.

— Ну все-таки, как ты соображаешь?

— Наверное, установили в конце концов, что осудили напрасно, вот и освободили.

— Ты так думаешь?
— А как же иначе думать, Степаныч?
— А я так своим простым умом прикидываю: у товарища Сталина помаленьку глаза начинают открываться.
— Ну, знаешь ли... Что же, он с закрытыми глазами страной правит?
— Похоже на то. Не все время, а с тридцать седьмого года.
— Степаныч! Побойся ты бога! Что мы с тобою видим из нашей МТС? Нам ли судить о таких делах? По-твоему, Сталин пять лет жил слепой и вдруг прозрел?
— Бывает и такое в жизни...
— Я в чудеса не верю.
— Я тоже в них не верю, но как-то надо нам объяснить этот случай с твоим братом? Раскусил же товарищ Сталин Ежова? А почем ты знаешь, может, он и Берию начинает помаленьку разгрызать?
— Пойдем, я провожу тебя до мастерской. Не люблю по-твоему разговаривать: то ты шепчешь, то переходишь на крик... Давай по пути в мастерскую кончим наш разговор.
— Плохой из меня конспиратор?
— Ни к черту! Нервный ты очень.
Директор, кряхтя, держась за поясницу, с трудом поднялся. К двери он шел, слегка прихрамывая, негодующе бормоча:
— Наука гласит, что радикулит от простуды. Чепуха, а не наука! Тоже мне медики! Я вот как разволнуюсь, так он, этот треклятый радикулит, сразу в поясницу возле крестца вступает. Хоть стой, хоть падай. У меня на медицину свой взгляд, и пусть они мне голову не морочат. У меня все это имущество еще с гражданской войны развинтилось...
Они молча прошагали безлюдным коридором, через черный ход вышли на пустынный хозяйственный двор. По просторному двору, огороженному посеревшим штакетником, по раздавленной гусеницами тракторов присохшей траве по-

терянно бродил ветер. Он все время менял направление: то тихо веял с запада, то заходил с юга и тогда становился почему-то напористее, сильнее. С утра было прохладно. По блекло-синему небу одна-одинешенька плыла своим путем белая, как кипень, тучка. Из широко распахнутых ворот мастерской доносился шумок токарного станка. В кузнице стоял певучий перезвон молотков, поддержанный астматическим дыханием меха, и тут же, за штакетником, в густой заросли дикой конопли, словно подлаживаясь к звону молотков, яростно, неустанно бил перепел.

Посреди двора, возле колодца, Иван Степанович остановился. Они, не сговариваясь, присели на низкий колодезный сруб.

— Думаю,— сказал Иван Степанович,— что твой братец поначалу будет людей избегать, но это у него пройдет, утрясется.

— Александр — общительный парень. Во всяком случае, был таким,— раздумчиво проговорил Стрельцов.

— В том-то и дело, «был». А вот каким стал? И это увидим. Все дело в том — одного ли его выпустили? Уж он-то наверняка знает. Вот почему, Микола, приезд твоего брата и для меня праздник. Может, следом за ним и другие, кто зазря страдает, на волю выйдут, а? Что ты на этот счет думаешь, Микола?

— Я бы хотел знать, а не строить догадки...

— Вот именно, знать. Не может же быть, чтобы одного его выпустили.

— А почему бы и нет? Возможно, и одного, Степаныч, подождем приезда Александра. Ничего мы с тобой не знаем, и нечего нам впустую гадать.

Иван Степанович по-женски всплеснул куцыми сильными руками.

— Как это нечего? Да у меня, пока я твоего братца дождусь, голова от думок треснет! У меня вот уже сию минуту начинают нервы расшатываться и радикулит стреляет в поясницу. Еще не известно, как я с этого сруба встану, может,

на карачках придется до мастерской ползти... Ты, как только отдохнет брат, сразу разузнавай у него, что и как. Он в Москве был, он должен знать, что там, в верхах, думают. Походи возле него на цыпочках, осторожненько, с подходцем, а все как есть разузнай и выведай.

Стрельцов просительно сказал:

— Не сразу. Дай ему отдышаться. Понимаешь, Степаныч, ему больно будет обо всем этом говорить. Тут нужен такт, осторожность нужна...

— Ну, брат, ты меня убил с ходу! «Такт, осторожность, ему больно будет»... А мне и другим не больно правды не знать? Братец ты мой, Микола!

— Все это понятно!

— Ничего тебе не понятно! Ты меня весной как-то на собрании принародно попрекнул, что вот, мол, Иван Степанович трусоват, он, мол, робкого десятка, и пережога горючего боится, и начальства побаивается, и всего-то он опасается... Может, ты и прав: трусоват стал за последние годы. А в восемнадцатом году не трусил принимать бой с белыми, имея в магазинной коробке винта одну-единственную обойму патронов! Не робел на деникинских добровольческих офицеров в атаку ходить. Ничего не боялся в тех святых для сердца годах! А теперь пережога горючего боюсь, этого лодыря Ваньку-слесаря праведно обматить боюсь, перед начальством трепетаю... Пугливый стал! Но это одесская шпана сделала смешными наши слова: «За что боролись!» Я знаю, за что я боролся! Встречусь я с твоим братом, так я с ним не о природе и не о наших задачах по сельскому хозяйству буду говорить. Никаких тактов мне не надо, будь они трижды прокляты, мне надо знать, что в Москве происходит, что там, в верхах, думают и чем дышат. Неужели в войну с фашистами влезем, а до этого в своем доме порядка не наведем? Но ты сам оглядись возле братана, а мне потом подскажешь. Тебе, конечно, с родственного бугра виднее.

Иван Степанович со сдержанным рычанием поднялся, долго тер кулаком поясницу, на прощание сказал:

— Разволновался я с тобой окончательно, раскачал нервишки, а теперь этот треклятый радикулит меня прижмет по всем правилам военного искусства. Ехать надо в колхоз имени Берия, а как я поеду? Стыдно, но придется у жены какую-нибудь завалящую подушку просить, под сахарницу подкладывать, иначе не усижу на дрожках.— И тяжело вздохнул: — А ведь воякой был, да еще каким лихим, голыми руками меня не бери, обожгешься! Господи боже мой, и на что этот колхоз именем Берия назвали? Ну, кому это нужно, и какой тихий дурень это название придумал? Главное, для чего? Нервы расшатывать тем, кто ни за что ни про что в его хозяйство попадал? И колхоз хороший, и люди там добрые трудяги, а едешь туда, и от одного названия тебя мутить начинает хуже, чем с похмелья... Мастера мы всякие крендели выкручивать, ох, мастера, язви его в печенку! Ну, я пошел, Микола! Жду от тебя весточки.

* * *

Николай Стрельцов приехал на станцию за час до прихода поезда. Было около девяти утра. Недавно прошел легкий дождь, и на путях пахло не так, как обычно: не только дымом от паровозных топок, мазутом и размытым угольным шлаком, но и каким-то домашним, земным запахом прибитой дождем пыли, смоченной травы, а от сложенных возле красного пакгауза огромных штабелей свежих досок так головокружительно нанесло вдруг сосной, смолистым духом подпаренной древесины, что Николаю на миг почудилось, будто идет он по сосновому бору в знойный полдень, а шипение маневрового паровоза зазвучало, как шум вековых мачтовых сосен. Николай на минуту остановился и даже глаза закрыл, с наслаждением вдыхая запах

сосны, тихо улыбаясь далекому детству, неотвязным воспоминаниям. Ведь как-никак, а родился он и до восьми лет прожил на лесном кордоне в далекой Вологодской губернии. И вот оказывается, что даже четверть века, долгие годы жизни на степных просторах юга России не могли выветрить цепкой привязанности к аромату леса, к бодрящему и милому запаху сосны... «Странно устроен человек»,— подумал Николай, взбираясь на платформу и еще раз оглядываясь на бледно-золотые штабеля досок по ту сторону путей. Сейчас на них светило выглянувшее из-за тучи солнце, и верхние, потемневшие от непогоды, шероховатые доски курились легким паром, источая устойчивый, далеко расплывающийся запах смолья, уютный запах будущих хозяйственных построек, оседлой жизни.

Накануне вечером Николай, постучавшись, зашел к Ольге в спальню. Она убирала волосы перед сном, стояла спиной к двери. Николай как-то сразу увидел ее слегка похудевшую шею, резко затененные трогательные впадины возле крохотных ушей. Тщетно стараясь подавить непрошенное чувство жалости, он очень тихо сказал:

— Я хочу просить тебя, Ольга, об одном: приедет Александр, и ты сделай все, чтобы он не заметил... не заметил, что между нами...

Она стремительно повернулась к нему лицом. Страдальческая улыбка тронула ее губы. Снизу вверх она испуганно взглянула на Николая, прошептала:

— Я постараюсь, Коля, вот как только ты... сумеешь ли ты сдержаться?

Николай кивнул головой, вышел, тихо притворил за собой дверь.

А теперь он ходил по безлюдной платформе, курил, вспоминал вчерашний разговор с женой, ее вымученную, жалкую улыбку и, стискивая зубы, чувствовал, как сердце его разрывается от жалости к прежней Ольге, от огромной человеческой боли...

С тяжким, давящим грохотом прошел товар-

ный состав, влекомый паровозом ФД. На платформе долго еще стоял маслянистый жар, оставленный мощным телом паровоза. Потом показался скорый.

На этой маленькой станции сошло всего лишь несколько пассажиров.

Николай торопливо шел от конца платформы. Возле седьмого вагона стоял человек среднего роста, с широкими прямыми плечами. Он высоко поднял над головой темную фетровую шляпу. Худое бледное лицо его морщинилось улыбкой, и, как кусочки первого ноябрьского льда, сияли из-под белесых бровей ярко-синие, выпуклые влажные глаза.

Николай шел размашистым шагом, а потом не выдержал и побежал, как мальчишка, широко раскинув для объятия руки.

* * *

С приездом гостя за каких-нибудь два дня круто изменилась жизнь в семье Стрельцовых. Ольга заметно оживилась, повеселела, почти не выходила из дома, с прежним рвением помогая Серафиме Петровне в стряпне и других хозяйственных хлопотах. Даже к маленькому Коле вернулась временно утраченная детскость: два дня он не отходил от дяди Саши, неотступно сопровождая его в прогулках по Сухому Логу, по вечерам не ложился спать до тех пор, пока не выслушивал очередной, приспособленный к его восприятию рассказ бывалого дяди Саши о гражданской войне, слушал, не сводя зачарованных глаз с лица рассказчика, а потом долго лежал в кровати, с широко раскрытыми глазами и счастливой мечтательной улыбкой. На вторую ночь перед сном он забрался в кровать к Серафиме Петровне, жарко зашептал ей на ухо:

— Бабуля, дядя Саша, между прочим, говорил сегодня, что полководец Жлоба был рябой. Разве настоящий полководец может быть рябой?

От природы смешливая, всегда готовая улыбнуться веселому, Серафима Петровна затряслась от сдерживаемого смеха.

— Ох, Коленька! Ну, почему же не может? Рябыми все могут быть, никому не заказано.

— А я думал, что рябые только разбойники бывают,— разочарованно протянул Коля и побрел к своей кроватке, осмысливая новое для него открытие в жизни.

Через минуту он обиженно проговорил:

— И нечего смеяться, и не трясись, пожалуйста, под своим одеялом. Ты койку трясешь, а я уснуть не могу. Ты вздорная женщина!

— О господи! Это еще откуда ты взял? — задыхаясь, спросила Серафима Петровна.

— Мы вчера шли с дядей Сашей в мастерскую, а какая-то женщина ругала соседку неприличными словами. Дядя Саша мне сказал: «Не слушай ее, она вздорная женщина». Вот и ты такая же вздорная.

— Но ведь я же не ругаюсь, Коленька?

— Зато смеешься ночью, когда никто не смеется, и заснуть мне не даешь. Вздорная ты, бабуля! — И уже полусонным голосом продолжал, медленно и вяло выговаривая слова:—А рябые— все разбойники, я точно знаю. Вот дядя Василий, плотник, ты знаешь, он тоже рябой. Я у него спросил, когда он в школе забор чинил: «Дядя Вася, вы когда были молодым, вы были разбойником?» Он говорит: «Еще каким! Особенно по женской части». Я у него спросил: «Это как «по женской части»?» А он говорит: «Женские монастыри грабил, монашек разорял». И больше ничего не сказал, только усы разглаживал и смеялся глазами, потом набрал в рот гвоздей и совсем перестал со мной разговаривать, начал доски прибивать. За два раза гвоздь по самую шляпку забивал, вот как! Он хотя и был разбойником, но хороший дядька. Он всегда глазами смеется и никогда не ругается, как ты говоришь, черным словом. Он один раз при мне очень сильно прибил палец молотком

и только сказал: «Ах, мать твою бог любит!» Бабуля, это приличное ругательство или неприличное? Ты слышишь, бабуля, или ты спишь?

Серафима Петровна, не отвечая, молча уткнулась лицом в подушку, а когда вволю насмеялась, мальчик уже тихо посапывал во сне.

Событием огромной важности для него стала поездка на автомашине в районный центр, куда дядя Саша ездил, чтобы стать на партийный учет в райкоме партии. Там, в райцентре, они наравных закусывали в столовой, причем, если дядя и шофер выпили только по одной рюмке водки, то на долю маленького Коли пришлась целая бутылка лимонада, напитка, о котором в Сухом Логу никогда и слыхом не слыхали.

Из поездки они вернулись закадычными друзьями. Мальчишеская любовь и привязанность были без особых стараний надежно завоеваны добродушным и веселым дядей. И когда за ужином Коля сказал: «Я думаю, дядя Саша, переселиться от бабушки к тебе. Ты все-таки мужчина, мне с тобой, пожалуй, будет удобнее спать»,— Ольга вспыхнула, в ужасе воскликнула: «Коля! Да как же ты смеешь обращаться к дяде на «ты»? Сейчас же извинись, негодный мальчишка!» Но Александр Михайлович немедленно пришел на выручку своему другу: «Что вы, Олечка, мы перешли с ним на «ты» по обоюдному согласию. Нам в постоянном общении так проще».

Ничего не скажешь, умел старый солдат — общительный и простой — подобрать ключик к каждому сердцу: Ольгу он покорил вежливой предупредительностью, немудреными комплиментами и плохо скрытым восхищением ее красотой. Она отлично видела, как он втайне любуется ею, и тихонько гордилась и даже немного кокетничала с ним, так, самую малость, в пределах родственных отношений. Серафима Петровна, сраженная простотою и офицерской услужливостью гостя, была прямо-таки потрясена, когда он обнаружил в передней под вешалкой

ее разорванную туфлю и так искусно зашил, что впору бы и самому хорошему мастеру обувного цеха. Для этого маленький Коля раздобыл у соседа-сапожника шило и тонкую дратву, а починку они произвели, скрываясь ото всех на конюшне.

Николай только улыбался про себя, глядя на то, как брат преуспевает и с диковинной быстротой становится в доме своим человеком.

— Где ты, Саша, выучился сапожному мастерству? — спросил он, разглядывая тещину туфлю.

— В лагере,— коротко ответил Александр.— В Академии имени Фрунзе нас этому не обучали, а вот в другой академии за четыре года я многое постиг: могу сапожничать, класть печи, с грехом пополам плотничаю. Нет худа без добра, браток! Только тяжело доставалась эта наука в тамошних условиях...

В комнату вошла Серафима Петровна, и разговор прервался.

* * *

В субботу рано утром Александр Михайлович и маленький Коля ушли на речку с удочками. Через два часа они вернулись, торжествующие, гордые успехом, потребовали у Серафимы Петровны большую эмалированную чашку и молча, с истинно рыбацким достоинством высыпали из садка груду живых, трепещущих пескарей.

— Любезная Серафима Петровна! Здесь этих милых рыбок ровным счетом шестьдесят три штуки. Если их почистить, зажарить на сковороде на коровьем топленом масле, чтобы они прожарились до хруста, а затем залить их десятком яиц,— то лучшего завтрака не придумаешь! Это мечта всех порядочных рыболовов! — сказал Александр Михайлович.

В конце завтрака, когда маленький Коля незаметно улизнул из-за стола, Александр Михайлович долго смотрел на Серафиму Петровну смею-

щимися глазами, постукивал по столу пальцами, озорно улыбался.

— Чему это вы, Александр Михайлович, посмеиваетесь? — невольно краснея, спросила Серафима Петровна.

— Я не посмеиваюсь, а просто счастливо и, может быть, немножко глупо улыбаюсь, глядя на вас. И думаю: до чего же вы смолоду были, очевидно, победительной женщиной! На вас и сейчас-то не налюбуешься, а что же было лет двадцать назад? Мужчины, наверное, падали навзничь?

— Смолоду и вы, Александр Михайлович, были, наверное, хват-парень...

— Не пришлось, матушка, побыть хватом, не успел, война все скушала!

— Так уж и все?

— Вчистую! Помилуйте, двадцати лет пошел в царскую армию, четыре года мировой войны, потом — гражданская война, потом всякие банды и бандочки, потом женился. Когда же мне было проявлять свою прыть? Вот вы — другое дело. Вы рано овдовели...

— Двадцати одного года.

— В двадцать один год и вольная казачка!

— Хороша вольная! А двое малых детей на руках осталось, это как? Какая уж там вольная! Скорее подневольная.

— В каком году вы овдовели?

— В восемнадцатом.

— Боже мой, как же я вас не встретил в те баснословные года? А ведь я с полком проходил через ваш Мариуполь.

— Значит, не судьба,— притворно вздохнула Серафима Петровна. И молодо рассмеялась.— А если бы и встретили, что толку?

Александр Михайлович в наигранном удивлении поднял белесые брови:

— Как это что толку? Встретил бы и покорил.

— Так уж и покорили бы?

— Как бог свят! Накинул бы на вас бурку, сказал «моя!» — и баста!

— Самонадеянностью вас бог не обидел, а ведь я тогда проворная была, так бы из-под вашей бурки и выскользнула!

— Извините, Серафима Петровна, не так бы я ее накинул, чтобы вы соизволили выскользнуть. Ведь тогда я был огонь-парень. Это теперь головешкой от костра стал... Представьте на минутку двадцатичетырехлетнего командира полка: сапоги с маленькими офицерскими шпорами, с малиновым звоном, красные суконные галифе, кожаная куртка, слева — шашка с серебряным темляком, справа, наперекрест,— маузер на ремне, в деревянной колодке, папаха слегка заломлена, в глазах — синий пламень... Блеск! Неотразимость! И никакой пощады прекрасному полу! Пройдешься по улице этаким чертом, в кавалерийскую развалочку, и встречные барышни —глазки долу, из боязни опалить их, и только нежные вздохи несутся тебе вослед... А некоторые того...

— Что это означает «того»? — Серафима Петровна, облокотившись о стол, смотрела на собеседника мокрыми от смеха глазами, полные румяные губы ее дрожали в неудержимой улыбке.

— То есть как это что означает? Полуобморочное состояние, вот что! А в отдельных, особенно тяжелых, случаях шок, ни больше и ни меньше. Мы в то время шутить не умели, дорогая Серафима Петровна! Я вот и теперь иногда встречаю женщин моего возраста и моложе с невыплаканной печалью во взоре и невольно думаю: «Вот и еще одна жертва гражданской войны и собственной неосторожности. В молодости посмотрела пристально, чересчур пристально на такого молодца, каким, скажем, был я, и пожалуйста, готова,— сердце разбито навеки и вдребезги!» Все это даром для вашего брата — женщин не проходит, нет, не проходит. Так как же вы смогли бы уцелеть, если бы встретились тогда со мною?!

— Хотя я и неверующая, но думаю, что не иначе святая Варвара — покровительница слабых женщин — уберегла меня. Не встретилась же, вот и уцелела!

— И зачем этой Варваре нужно было путаться в наши дела? Кто ее просил? Ох, уж эти мне женщины, хотя бы и святые! Из-за нее, оказывается, все и пропало!

Александр Михайлович сжал лысеющую голову обеими руками, стал горестно раскачиваться, восклицая в нарочитом отчаянии:

— Все погибло, и Варвара всему виной! Никакая она не святая, а типичная разрушительница чужого счастья и к тому же завистница! Боже, как мелки в своих чувствах женщины, даже святые!

— Александр Михайлович, миленький, перестаньте! Я больше не могу! — задыхаясь от смеха плачущим голосом просила Серафима Петровна.

Ольга, тихо улыбаясь, вслушивалась в игривый разговор расходившихся стариков, а Николай тем временем в коридоре приглушенно говорил в телефонную трубку:

— ...молчит... Пока ничего не было, Степаныч... Я тоже так думаю. Ну, подожди. Немедленно расскажу. Ну, будь здоров.

Женщины ушли управляться по хозяйству, а братья все еще сидели за столом, пили крепчайшей заварки чай, по-старинному, вприкуску, обливаясь потом, вели неторопливый разговор.

В распахнутые окна дул теплый ветер. Он парусил, качал тюлевые занавеси, нес в комнату оставшийся еще с ночи тонкий смешанный запах петуний, медуницы и ночной фиалки, росших под окном, и грубоватую горечь разомлевшей под солнцем полыни со степного выгона, подступившего к самому двору. Где-то под потолком на одной ноте басовито гудел залетевший шмель. Тоненько и печально поскрипывали оконные ставни.

Александр Михайлович, перед тем как встать из-за стола, долго и молча смотрел на Николая затуманившимися глазами, потом тихо проговорил:

— Смотрю на тебя, Коля, и диву даюсь: до чего же ты похож на маму! Та же улыбка, та же

манера поводить плечами и вздергивать голову, когда тебе противоречат, тот же рисунок бровей, глаза... Только вот глаза у тебя изменились, погрустнели как-то твои черные — мамины — глаза... Взрослеешь, что ли?

— Пора. Расколол уже четвертый десяток и не заметил как... Совсем не заметил, Саша! Годы — все мимо, как во сне!

Николай отвернулся к окну и — то ли от мягкого, задушевного тона, каким были сказаны слова старшего брата, то ли от внезапно резанувшего сердце воспоминания о покойной матери — вдруг почувствовал, как когда-то в детстве, нестерпимую жалость к себе. И оттого ли, что действительно уже ушла за далекий степной горизонт, потонула в голубой дымке молодость, оттого ли, что непоправимо рушилась семейная жизнь,— это короткое, как ожог, чувство боли было так остро, что Николай ощутил на глазах жаркие слезы, и, устыдившись их, устыдившись своей детской чувствительности, бодро сказал, все же не поворачивая от окна головы:

— Хватит о невеселом! В такое утро о грустном не говорят. А ты знаешь, как раз накануне твоего приезда была девятая годовщина маминой смерти... Ну, и хватит!

Заметив его волнение, спохватился и Александр Михайлович:

— А и правда, братик, не ко времени затеял я этот разговор. Но ведь, черт их дери, эти воспоминания, они приходят, не считаясь с твоим настроением, в любое время суток, как зубная боль. Что же ты не сказал насчет годовщины, когда я приехал? Ну, понимаю, хватит. Слушай, Коля, а не закатиться ли нам сегодня на серьезную рыбалку? Что-то пескари меня вздразнили. Ты говорил, что где-то километрах в десяти есть глубокий омут. Может, туда махнем с ночевкой? Нам бы хоть десятка два окуней наловить и ушицы сварить на берегу... Как ты на это смотришь, Коля?

— А я так смотрю: до двенадцати — сборы, затем запрягаю в дрожки Воронка — и айда.

— Это мне нравится! Чем я могу тебе помочь?

— Единственное тем, что не будешь мешать мне собираться.

— Это мне еще больше нравится. Не забудь, подкинь мне какие-нибудь свои старенькие штаны. Не в костюме же ехать на рыбалку.

— Будет исполнено. Да! Разыщи Николашку, и наройте с ним навозных червей. Он знает, где их добыть. И, пожалуйста, не потакай ему во всем, его с собой не возьмем, ночью комары его там заедят.

— Коля, червей мы нароем и парня отговорим от поездки, но зачем отправляться в самую жарищу?

— Ухи хочешь? Ну, так надо ехать пораньше, чтобы сварить рыбу засветло и не возиться с ней в потемках.

— Резонно. Едем, невзирая на жару. Ради ухи из окуней согласен на любую жертву. Нам их и надо всего лишь десяток изловить. Неужто не осилим эту задачу? Пообещай мне тарелку хорошей ухи, и я пешком уйду!

К двум часам пополудни они были уже у реки. Николай выпряг и стреножил Воронка, уложил в кошму все рыбацкое имущество, предложил:

— Пойдем, посмотришь на плес. Называется он Пахомова яма. Старик Пахом когда-то, при царе Горохе, утонул тут, в память этого события и яму назвали его именем. Плес тебе понравится, уверен.

Увязая по щиколотку в сыпучем песке, с трудом продираясь сквозь заросли кустов белотала-перестарка, они спустились по пологому откосу к неширокой песчаной косе.

Перед ними лежала, словно в огромной, врезанной в землю раковине, зеркальная водная гладь метров шестидесяти шириной. Противоположный берег плеса был обрывист, крут, по верху его вплотную к самому обрыву подступал старый, не тронутый ни порубкой, ни прочисткой

смешанный лес: невысокие, но кряжистые, в два-три обхвата, дубы, карагачи, вязы вперемежку с дикими яблонями, вербы, тополя и осины,— все это буйное смешение лиственных деревьев с густейшим подлеском зубчатой грядой тянулось вверх и вниз по течению реки, а вдали, на границе с холмистой степью, высоко взметнув вершины, ловя верховый ветер, величаво высились осокори и ясени с могучими, похожими на мраморные колонны бледно-зелеными стволами.

Прямо напротив спуска к реке лес разделялся широкой прогалиной. Посредине одиноко красовался древний вяз с такой раскидистой кроной, что в тени ее свободно разместилась отара — голов в триста — овец. Угнетенные послеполуденным зноем, овцы, разделившись на несколько гуртов, теснились вкруговую, головами внутрь, изредка переступая задними ногами, глухо пофыркивая. Даже на этой стороне был ощутим резкий запах овечьего тырла.

Неподалеку от вяза, на солнцепеке, опершись обеими руками на костыль, недвижно стоял седобородый пастух — старик, с головою, повязанной выгоревшей красной тряпицей, в грязных холщовых портах, в длинной до колен, низко подпоясанной рубахе.

Что-то древнее, библейское было в этой живописной картине: вяз патриаршего возраста, старик пастух с овцами, не тронутый человеческою рукою первобытный лес и дремучая тишина, изредка прерываемая посвистом иволги да воркованием горлинки,— все это как бы сошло с полотна старинного художника и воплотилось в жизнь, озвученную и неповторимо красочную.

Взглянув на Николая блестящими глазами, Александр Михайлович прошептал:

— Коля, да ведь это — как в сказке! Черт возьми, никогда не думал увидеть такое...

— Хорошее место,— просто сказал Николай.— Давай сносить к воде пожитки, рыбалить и ночевать будем на той стороне.

— А где же лодка?

— Затоплена, сейчас пригоню ее. Не разувайся, песок очень горячий, не выдержишь.

— Да что ты, брат, по такому девственному песку, где нога человечья еще не ступала, и в обуви? Не могу, это — кощунство!

Он присел на песок, проворно стащил полуботинки, носки, с наслаждением пошевелил пальцами. Потом, после некоторого колебания, снял штаны. Иссиня-бледные, дряблые икры у него были покрыты неровными темными пятнами. Заметив взгляд Николая, Александр Михайлович сощурился:

— Думаешь, картечью посечены? Нет, тут без героики. Эту красоту заработал на лесозаготовках. Простудил ноги, обувка-то в лагерях та самая... Пошли нарывы. Чуть не подох. Да не от болячек, а от недоедания. Давно известно, «кто не работает, то не ест», вернее, тому уменьшают пайку, и без того малую. А как работать, когда на ноги не ступишь? Товарищи подкармливали. Вот где познаешь на опыте, как и при всякой беде, сколь велика сила товарищества! А нарывы, как думаешь, чем вылечил? Втирал табачную золу. Более действенного лекарства там не имелось. Ну, и обошлось, только до колен стал как леопард, а выше — ничего от хищника, скорее наоборот: полный вегетарианец. Надеюсь, временно...

Опираясь обеими ладонями на песок, слегка откинувшись назад, Александр Михайлович смотрел на Николая снизу вверх, улыбался. И так не вязалась его простодушно детская улыбка с грубоватым юмором, что Николай только головой покачал.

— До чего же неистребим ты, Александр! Я бы так не мог...

— Порода такая и натура русская. Притом — старый солдат. Кровь из носа, а смейся! Впрочем, Коля-Николай, и ты бы смог! Нужда бы заставила. Говорят же, что не от великого веселья, а от нужды пляшет карась на горячей сковороде... Ну, нечего дорогое время терять, по-

шли, а то и на уху не наловим. Нет, это невозможно! Такой плес, и чтобы без ухи остались? Пошли. Хоть мелочишки бы наскрести на ушицу, хоть на самую скудную! Нам пяток окуньков, и хватит. Я, братец, десять лет настоящей ухи не хлебал.

— На добрую уху ты один должен наловить.

— А ты где же будешь? В свидетелях?

— Мне надо заготовить дровишек на ночь, стан оборудовать, словом, я — по хозяйственной части, а ты — обеспечиваешь рыбой. У тебя три часа времени, уху надо сварить засветло, так что все от твоего старания зависит...

— Коля, один я не смогу,— умоляюще проговорил Александр Михайлович.— Ради бога, давай вдвоем ловить, иначе останемся на одном чаю. Я не могу ручаться за успех, а ты опытный рыбак. Нет, только вдвоем! И потом, мы не можем так безрассудно рисковать. Я видел, как Серафима Петровна положила в корзинку хлеб, картошку, укроп, лук репчатый и зеленый, даже пол-литра водки она, добрая душа, выдала нам. Не хватает для ухи сущего пустяка — рыбы, и вдруг ты все подвергаешь ненужному, глупому риску. Я же один ни черта не поймаю!

Николай был непреклонен:

— Хочешь ухи — добывай рыбу. У меня без этого забот хватит. Надо еще к завтрашней заре ракушек-перловиц с ведро натаскать.

— А это для чего?

— Для сазанов.

— Коля, это — эфемерная штука, сазаны. Их может не быть, а без ухи мы быть не можем. На кой черт нам журавль в небе, если нужна синица, а она почти в руках.

— Вот и бери ее, эту синицу. И вообще не хнычь. Генерал, а хнычешь. Должен наловить — значит, лови. Рыбы тут, как в садке, а ты ноешь. Переедем на ту сторону, и я поймаю тебе штук десять верховочек. Режь каждую на три части, окунь охотнее берется на головку и хвостик. Целиком рыбку не насаживай, приманишь щуку,

и — прощай, крючок! Глубина там с лодки — четыре маховых, то есть шесть метров. Неподалеку, чуть подальше заброса,— карша, огромный вяз. Он весь под водой. Пристанище окуней. Забрасывать будешь так: излишек лесы — удилище-то трехметровое — соберешь в левую руку кругами, правой — от себя, снизу вверх бросок, и леса несет насадку на всю длину. Грузило, ты увидишь, небольшая картечина, сигарообразная форма придана ему для того, чтобы не блюкало при забросе.

— Это наставление надолго? — нетерпеливо спросил Александр Михайлович.

Но Николай, не обращая внимания на вопрос, продолжал:

— Да к тому же легкое грузило не увлечет за собой леску. Клев определишь по кончику удилища. Поплавков не положено, будут мешать при закидывании. Вот тебе перочинный нож резать верховку, он же пригодится в случае заглота наживки. Ну, а теперь — за дело. Что касается наставления — извини, но без него ты и леску не сумеешь забросить. Знаю я этих городских рыбаков-дилетантов!

На той стороне плеса Николай вырыл веслом в песке углубление под обрывом, вытащил нос лодки так, что корма низко осела, сказал:

— Ни жучка тебе, ни чешуйки! Подложи вот этот брезентовый плащ на корму, чтобы удилища не стучали, когда будешь класть их. Подержи предварительно в воде минут пять, чтобы замокли. Гибь у них появится отличная! Позднее я приду тебя проведать. Садок привяжешь к гвоздю. Он вбит справа по борту.

Два раза леса в руках Александра Михайловича при закидывании завязывалась замысловатыми узлами. Шепотом чертыхаясь, он подолгу возился с распутыванием, наконец, на третий раз, леса вытянулась, тихо чмокнуло удлиненное грузило, гибкий кончик березового удилища согнулся и выпрямился,— грузило легло на дно.

Жара не спадала. Из-под полей старенькой соломенной шляпы по лбу и шее Александра Михайловича беспрерывно катился пот. Капельки его щекотали раковины ушей, холодили под рубашкой спину, но упрямый рыбак только головой встряхивал, а правой руки с комля удилища не снимал.

Не было ни малейшего дуновения ветерка. Редкие тучки еле двигались в накаленной бледной синеве небес. Зеленоватая вода казалась густой, как подсолнечное масло, лишь медленно проплывавшие по ее поверхности соринки указывали на слабенькое течение. Пряно пахло нагретыми водорослями, тиной, прибрежной сыростью.

Вторую удочку Александр Михайлович разматывать не стал, чтобы не рассеивалось внимание. Клева не было. Уже третью папиросу выкурил рыбак, уже несколько раз отчаяние сменялось у него надеждой, а надежда снова покорялась отчаянием. Кончик удилища был так мертво неподвижим, что зеленые и желтые стрекозы безбоязненно присаживались на него отдохнуть. Глухая тишина не нарушалась, а как бы подчеркивалась монотонным напевом удода, далеким и горестным голосом кукушки. Время шло, и сладостная дрема стала одолевать Александра Михайловича. Он уже хотел было махнуть рукой на ловлю, растянуться на носу лодки и уснуть, но тут кончик удилища резко качнулся, а затем, судорожно содрогаясь, зарылся в воду. Александр Михайлович вскочил так порывисто, что едва не зачерпнул в лодку воды. На конце лесы тугими толчками рвалась в глубину крупная рыба. Легкое удилище согнулось вдвое. Кое-как дотянувшись до лесы рукой, Александр Михайлович бросил удилище в лодку и уже пальцами и всей рукой остро почувствовал бурное сопротивление добычи. Крупный, около килограмма весом, окунь показал широченный полосатый бок, ушел под лодку. С усилием подтягивая лесу, донельзя взволнованный, счастливый

рыбак все же вырвал его из воды. Окунь забился на влажном днище, гулко зашлепал хвостом. Осторожно придавив к спине воинственно поднятый спинной плавник, крепко стиснув возле головы еще хранящее холодок глубинных вод тело красивой, упругой рыбы, Александр Михайлович вынул из ее пасти крючок, бережно опустил окуня в плетенный из хвороста круглый садок и только тогда увидел, как мелко дрожат руки. Вытирая ладони о парусиновые штаны, дивясь своему волнению, он долго улыбался, не спешил забросить удочку, курил и все искоса поглядывал на садок, в сумеречной зеленой тьме которого кругами ходил окунь, изгибая литую толстую спину.

«Еще бы пяток таких красавцев, и уха обеспечена! Да какая уха!» — с восторгом думал Александр Михайлович, снова наживляя и забрасывая удочку.

Минут через пять кончик удилища мелко задрожал, чуть наклонился к воде. После подсечки окунишка величиной с карандашный огрызок покорно пошел к лодке. Александр Михайлович только крякнул, разочарованно глядя на жалкую поживу. Он хотел было выпустить окунька, но пришла на ум поговорка: «Ловим не на вес, а на счет» — и окунек тоже очутился в садке.

Стало прохладнее, солнце закрыла продолговатая туча. Потянул ветерок, и клев участился. Еще один крупный, на килограмм с лишним, окунь долго ходил в темной загадочной глубине, брал лесу на растяжку, упорно, сильно давил книзу, и Александр Михайлович, шепча немыслимые ругательства, все тянулся левой рукой и никак не мог захватить лесу. Окунь сорвался уже в лодке и так высоко подпрыгнул, что едва не очутился за бортом. И снова Александр Михайлович ощутил непривычную дрожь в руках и щемящее радостное волнение.

Время остановилось. Слезящимися глазами он следил за кончиком удилища. Очень хотелось курить, но некогда было достать из кармана па-

пиросы. Шел средний окунь. Брал уверенно и жадно. После того как сорвался первый, крупный, судя по сопротивлению,— сходы пошли один за другим. Четвертый окунь сошел с крючка, чуть не приткнувшись к борту лодки. Секунду ошалело стоял у самой поверхности воды, потом сверкнул зеленой молнией, растворился в глубине.

— Нет, без подсачка ловить — мальчишество! — вслух хрипло сказал Александр Михайлович и с досадой плюнул на то место, где только что стоял окунь.

После двухчасового воздержания с наслаждением закурил, распрямил спину. Сзади неслышно подошел к обрыву Николай, долго смотрел на брата, тихо посмеиваясь.

— Ты в этом соломенном брыле, Саша, удивительно похож на старого деда-бахчевника. И сидишь-то по-стариковски, горбишься, будто тебе все восемьдесят лет.

— Что же, я и на рыбалке должен соблюдать строевую выправку? Ты почему не спросишь, сколько я поймал? Я превзошел самого себя, если хочешь знать. Я недооценил свои способности! Изволь, любуйся.

Николай, тормозя каблуками, скатился с глинистого обрыва, ступил в лодку. В вытащенном из воды садке с влажным шуршанием затрепыхались окуни.

— На очень изрядную уху,— явно желая польстить брату, сказал он.— Сколько счетом? О, да тут два отличнейших горбача!

— Двадцать три хвоста! И несколько штук сорвалось. Почему у тебя нет подсачка для такой рыбы? Это же вопиющее безобразие! Леса длинная, приходится брать ее в руку, и сходы — один за другим.

— Я такую рыбу не ловлю, я с такой мелочью не связываюсь, а крупный черпак для сазанов есть. Не жадничай, Саша, хватит и этого улова. Сматывай удочку, и пошли варить уху. Говорил же тебе, что здесь рыбы, как в садке.

Александр Михайлович с хрустом потянулся, сказал:

— Ты не поверишь, Николай, какое наслаждение я испытал за сегодняшний день. Давно я так не радовался и не волновался! Знаешь, просидел четыре часа, не разгибаясь, а время прошло с начала клева, как четыре минуты. На какие-то часы я вернулся в детство, и какое это блаженство, если бы ты знал! Ни одной мыслишки в голове, ни проблеска воспоминаний... Ты не представляешь, как ты меня порадовал этой поездкой. Иди сюда, я тебя обниму, свирепый ты мой чеченец!

На закате солнца они плотно поужинали рыбой и превосходной ухой. Под разварного окуня Александр Михайлович выпил рюмку водки. От второй решительно отказался.

— Брат, ты меня не приневоливай. Раньше я мог много выпить и быть не очень хмельным, а теперь не то... Да у меня и без водки так хорошо на душе! Давай лучше поговорим. Надо же мне рассказать тебе мою одиссею. Налей мне чашку чаю, покрепче.

От воды потянуло сыростью. Заметно похолодало. На западе, за приречными вербами погорела заря. Синяя тьма надвигалась с востока. Лишь одинокое облачко в зените, подсвеченное снизу солнцем, сияло таким нежнейшим опаловым светом, что Николаю почему-то до боли грустно было на него смотреть.

В кустах несмело защелкал соловей. Александр Михайлович сидел возле потухшего костра, помешивал прутиком золу, искал уголек прикурить от живого огня. На минуту прислушался к затянувшемуся соловьиному щелканью, сказал:

— Молодой, не распелся еще, не выучился как следует.— Помолчал, почмокал губами, раскуривая отсыревшую папиросу.— Вот так и вы, молодые, во всяком случае — некоторые из вас, еще не приобретете жизненного опыта, а уже беретесь судить обо всем, даже о том, чего еще как следует не осмыслили, не продумали до скрытой

глубины, ну, и поете с чужого голоса, щелкаете, как вот этот соловейко, а настоящего пения не получается... Пришлось недавно мне говорить с одним таким щелкуном. Он так рассуждал: что, мол, в ваше время, в революцию, было? Все просто, до примитива: «Земля — крестьянам, фабрики — рабочим». А в жизни, в классовой борьбе, дескать, все значительно сложнее. Слов нет, жизнь — сложная штука, но этому «примитиву» — «земля — крестьянам, фабрики — рабочим» — предшествовала и вековая борьба революционеров и десятилетия огромнейшей работы нашей партии, работы, стоившей жертв, да каких жертв!

Знаешь ли, в двадцатых годах в Париже вышел многотомный труд бывшего командующего Добровольческой армией генерала Деникина. Называется он «Очерки русской смуты». Так вот, Деникин пишет, что не было у добровольцев лозунга, за которым пошли бы солдаты и прогрессивно мыслящие офицеры. А было наоборот: как только Добровольческая армия по пути на Москву вступала на территорию украинских и русских губерний, так все эти корниловцы, марковцы, дроздовцы — сынки помещиков — начинали в своих дворянских поместьях вешать и пороть шомполами мужиков за то, что те поделили помещичью землю, растащили, разобрали по рукам скот и сельскохозяйственный инвентарь. Вот как на деле оборачивалась одна часть «примитива» — «земля — крестьянам»! Как только Добровольческая армия занимала промышленный центр, обиженные сынки заводчиков и владельцев шахт, те же офицеры Добровольческой армии, принимались вешать и ставить к стенке рабочих, национализировавших их предприятия. Так оборачивалась для рабочих вторая часть «примитива». Все это я не только читал, но и лично наблюдал во время гражданской войны, сражаясь с этими же добровольцами.

С какой же радости шли бы в Добровольческую армию рабочие и крестьяне? Деникинцы

великолепно помогали утверждаться Советской власти! Если это свидетельствует сам Деникин, то о чем же тут говорить? Я за этот «примитив» пошел перед октябрьским переворотом, будучи на фронте председателем полкового революционного комитета. Ты тогда еще был несмышленышем.

Впрочем, еще с мальчишеских лет, еще в гимназии отравляло мне сознание этакое социальное неравенство: сытые, выхоленные сынки купцов, помещиков, прочих состоятельных и бедные, кое-как одетые, в тщательно заштопанных брючишках дети мелких чиновников, кустарей, разночинцев. Еще тогда это рвало мне сердце! Повзрослел, стал читать, задумываться, тыкался носом, как щенок возле блюдца с молоком, а тут — война. В окопах прозрел окончательно. Я ведь в армии был вольнопером и уже после окончания юнкерского стал офицером. Под конец войны я поручиком был. Но и офицерский чин не сделал меня защитником царского режима! Покорила навсегда программа большевиков, начисто отверг половинчатых эсеров, меньшевиков и прочих анархистов, и стал я, братец ты мой, ярым большевиком, бескомпромиссным, пожалуй, немного даже фанатичным. Не было, да и сейчас нет для меня святее дела нашей партии! Да разве я один из офицерского корпуса царской армии пришел к большевикам? А Брусилов, Шапошников, Каменев и многие другие, чинами пониже? Однажды в двадцатых годах Сталин присутствовал на полевых учениях нашего военного округа. Вечером зашел разговор о гражданской войне, и один из военачальников случайно обронил такую фразу о Корнилове: «Он был субъективно честный человек». У Сталина желтые глаза сузились, как у тигра перед прыжком, но сказал он довольно сдержанно: «Субъективно честный человек тот, кто с народом, кто борется за дело народа, а Корнилов шел против народа, сражался с армией, созданной народом, какой же он честный человек?» Вот тут — весь Сталин,

истина — в двух словах. Вот тут я целиком согласен с ним! Все честное из интеллигенции и даже дворянства пошло за большевиками, за народом, за Советской властью. Иного было не дано: либо — за, либо — против, а все промежуточное стиралось двумя этими жерновами. Дальнейшее ты знаешь. Стал я кадровым военным. Связал свою жизнь с Красной Армией.

И какой же народище мы вырастили за двадцать лет! Сгусток человеческой красоты! Сами росли и младших растили. Преданные партии до последнего дыхания, образованные, умелые командиры, готовые по первому зову на защиту от любого врага, в быту скромные, простые ребята, не сребролюбцы, не стяжатели, не карьеристы. У любой командирской семьи все имущество состояло из двух чемоданов. И жены подбирались, как правило, под стать мужьям. Ковров и гобеленов не наживали, в одежде — простота, им и «краснодеревщики не слали мебель на дом». Не в этом у всех нас была цель в жизни! Да разве только в армии вырос такой народище? А гражданские коммунисты, а комсомольцы? Такой непробиваемый стальной щит Родины выковали, что подумаешь бывало — и никакой черт тебе не страшен. Любому врагу и вязы свернем и хребет сломаем!

Жили мы тогда, как в сказке! Весь пыл наших сердец, весь разум, всю силу расходовали на создание армии, на укрепление могущества нашего единственно справедливого на земле строя! Мы не так уж много уделяли внимания дорогим женам и семьям, а холостые — девушкам, но, черт возьми, хватало и им от наших щедрот, и в обиде на нас они не были! Наши умницы понимали, что мы так раскрутили маховик истории, что сбавлять обороты было уже ни к чему! — Александр Михайлович помолчал, глядя на огонь, наверное, вспоминая прошлое, тихо улыбаясь воспоминаниям, потом закурил и продолжал снова. И только по тому, как глубоко он затягивался, глотая папиросный дым,

видно было его скрытое волнение.— Я, Коля, никогда не уставал любоваться своими людьми. Взыскивал с подчиненных со всей старорежимной строгостью, а втайне любовался ими. И молодые солдаты и те, которых призывали на территориальные сборы,— у всех у них были суворовские задатки. Старик порадовался бы, глядя на достойных потомков своих чудо-богатырей. Ей-богу, не вру, не фантазирую! Проснись Суворов да побывай на наших учениях,— он прослезился бы от умиления, а от радости выпил бы лишнюю чарку анисовки!

Я не говорю уже о комсоставе. Насмотрелся я на своих в Испании и возгордился дьявольски! Какие орлы там побывали! Возьми хоть комдива Кирилла Мерецкова, или комбрига Воронова Николая, а полковник Малиновский Родион, а полковник Батов Павел. Это же готовые полководцы, я бы сказал экстра-класса! Троценко Ефим, Шумилов Михаил, Дмитриев Михаил тоже ребята — дай бог! Не уступят в хватке, в знаниях, в волевых качествах! Даже те, кто помоложе, и те были на великолепном уровне, такие, как старший лейтенант Лященко Николай или лейтенант Родимцев Саша,— это, будь спокоен, завтрашние полководцы без скидки на бедность и происхождение. А вообще всем им — цены нет! Кстати, Родимцев, будучи командиром взвода, выбивал из пулемета на мишени свое имя и фамилию. Не хотел бы я побывать под огнем пулемета, за которым прилег Родимцев... А посмотреть — муху не обидит, милый, скромный парень, каких много на родной Руси. Да что там говорить. И в гости ездили отличнейшие ребята, да и дома их оставалось предостаточно, на случай, если пришлось бы встречать незваных гостей... Ты помнишь, у Пушкина есть великолепная характеристика Мазепы, его любви к Марии? — Александр Михайлович, сидевший возле костра по-казахски, ноги калачиком, встал на колени и со старомодной дикцией, без излишней патетики, прочитал на память:

Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет. В нем любовь
Проходит и приходит вновь,
В нем чувство каждый день иное:
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылает сердце старика,
Окаменелое годами.
Упорно, медленно оно
В огне страстей раскалено;
Но поздний жар уж не остынет
И с жизнью лишь его покинет.

Если для нас, стариков, заменить кое-что, то есть вместо некоей Марии поставить идею, нашу, большевистскую идею, то это нам придется в самую пору! С той только разницей, что и смолоду мы были покорены этой единой страстью и остались верны ей до старости. Как это у него? «Но поздний жар уж не остынет и с жизнью лишь его покинет». Здорово сказано! Да, браток, когда перевалит на пятый десяток, и Пушкина иначе воспринимаешь. Русский человек, читая Пушкина, непременно слезу уронит, будь он даже такой солдафон, как я. В лагерях, когда не спалось, я всегда восстанавливал в памяти Пушкина, Тютчева, Лермонтова... Особенно по ночам, в бессонницу, вспоминались хорошие стихи. И душевная мука отпускала, и слезы были не такими жгучими...

Как снег на голову, свалился тридцать седьмой год. В армии многих, очень многих мы потеряли. А война с фашистами на носу... Вот что не дает покоя! Да только ли это!

Ну, и со мной случилось, как со многими: один мерзавец оклеветал десятки людей, чуть ли не всех, с кем ему пришлось общаться за двадцать лет службы, меня в том числе. И всех пересажали, на кого он сыпал показания, и жен их отправили в ссылку, и мою Аню, конечно. Ты, очевидно, слышал и о методах допросов с пристрастием, и о методах ведения следствия, и о порядках в лагерях. Слышал, надеюсь?

— Слышал.

— Это не скроешь, и я не стану лишний раз тебя ранить, поберегу тебя, браток. Все это было. В разных местах по-разному. И не в этом дело, а в том, как такое могло случиться. Кто повинен? Я глубочайше убежден, что подавляющее большинство сидело и сидит напрасно, они — не враги. Слов нет, были среди изъятых и настоящие враги, однако их меньшинство, жалкое меньшинство! В тридцать восьмом году в Ростове на Первое мая, как только до тюрьмы долетели с демонстрации звуки «Интернационала», и в тюрьме подхватили и запели «Интернационал». И как пели! Ничего подобного я никогда не слышал в жизни, и не дай бог еще раз услышать!.. Пели со страстью, с гневом, с отчаянием! Трясли железные решетки и пели... Тюрьма дрожала от нашего гимна! Да разве враги могли так петь?! — Голос Александра Михайловича осекся, худое лицо исказилось, но глаза остались сухими, он надолго замолчал и вновь заговорил, только когда справился с волнением.— Я тебе так скажу: настоящие коммунисты и там оставались коммунистами... И я не потерял веру в свою партию и сейчас готов для нее на все! Зачеркнуть всю свою сознательную жизнь? Затаить злобу?! Не могу! На Сталина обижаюсь. Как он мог такое допустить?! Но я вступал в партию тогда, когда он был как бы в тени великой фигуры Ленина. Теперь он — признанный вождь. Он был во главе борьбы за индустрию в стране, за проведение коллективизации. Он, безусловно, крупнейшая после Ленина личность в нашей партии, и он же нанес этой партии тяжкий урон. Я пытаюсь объективно разобраться в нем и чувствую, что не могу. Мешает одно, мы с ним не на равных условиях: если я отношусь к нему с неприязнью, то ему на это наплевать, ему от этого ни холодно ни жарко, а вот он отнесся ко мне неприязненно, так мне от этого было и холодно, и жарко, и еще кое-что похуже... Какая уж тут может быть объективность с моей стороны? Однако я — не мальчик

и отличнейше понимаю, что предвзятость — плохой советчик. Во всяком случае, мне кажется, что он надолго останется неразгаданным не только для меня. Приведу тебе такой пример. В двадцатых годах после учений в нашем военном округе, о которых я говорил, он согласился отобедать с нами. Было восемь старших военачальников. В разговоре кто-то из наших скептически отозвался об одном командире дивизии: «Он же бывший офицер царской армии». Сталин и говорит: «Ну, и что из того, что бывший офицер? Офицеры бывают разные. Под Царицыном в восемнадцатом году, возле Кривой Музги, попал к нам в плен раненый казачий офицер. Пулеметной очередью был ранен в обе ноги, в мякоть, кости не были затронуты. Мы с Ворошиловым решили с ним поговорить. Приходим. Лежит на носилках, на цементном полу. Спрашиваем: «За что вы с нами воюете?» Плюется, кричит: «С большевистскими комиссарами я не разговариваю!» Во второй раз к нему пришли. Молчит. В третий раз. Походили, привык, стали разговаривать. Ведем с ним политические беседы, разъясняем, что к чему... А теперь он у нас в больших военачальниках ходит».

В восемнадцатом году его заинтересовала судьба одного вражеского офицера, а двадцать лет спустя не интересуют судьбы тысяч коммунистов. Да что же с ним произошло? Для меня совершенно ясно одно: его дезинформировали, его страшнейшим образом вводили в заблуждение, попросту мистифицировали те, кому была доверена госбезопасность страны, начиная с Ежова. Если это может в какой-то мере служить ему оправданием...— Александр Михайлович разом умолк, прислушался.

По траве зашуршали чьи-то шаги. Из сумеречной темноты послышался гулкий басок:

— Рыбакам доброго здоровья!

— Здравствуй, дедушка Сидор,— отозвался Николай.— Проходи, садись, гостем будешь.

К костру подошел овчар, коснулся рукой красной тряпицы на голове, забасил:

— У меня тут овечки неподалеку ночуют, а я думаю, сем-ка пойду к Миколе-агроному, может, ушица у него осталась, должен же он овечьего пастыря покормить. Допрежде ты, бывалоча, меня подкармливал юшкой, а ноне как? С уловом?

— И уха есть, и рыба, и даже выпить деду найдется.

— Спаси Христос, добрый ты человек, дай бог тебе и твоему гостю здоровья.

Старик легко опустился на колени, поджал левую ногу, сел поудобнее и взглянул на Александра Михайловича из-под седых бровей по-молодому пронзительными, но веселыми глазами.

После обычных разговоров о видах на урожай, о травостое, о погоде старик спросил:

— Никак, вы, товарищ, братцем нашему Миколе-агроному доводитесь?

— Так точно, отец. Мать у нас была одна, отцы — разные. Мой отец умер, и мать долго вдовствовала, потом вышла за другого. Вот этот другой ее муж и был Колиным отцом. Понятно?

— Чего ж тут непонятного? По моему умыслу, мать — это корень, а отцы — дело такое, одним словом, всякое... Старики-то все у вас померли?

— Да. Мы с братом круглые сироты. Без отцов и бедой и радостью богатеем.

— Ничего! Вы уже большенькие. Проживете и не заметите, как старость и к вам припожалует, постучится в оконце... Так, как вот и ко мне... Люди у нас брешут, будто вы суждены были за политику. Правда ли?

— Был.

— И сколько же вам пришлось отсидеть, извиняйте за смелость?

— Не стесняйся, спрашивай, от тебя, папаша, не потаюсь.— Александр Михайлович подкинул сушняку в угасший костер, чтобы получше разглядеть старика.— Четыре года с половинкой отбыл.

Овчар смотрел пристально, молчал, потом сказал как бы с разочарованием:

— Не так чтобы и много.

— Отсюда глядеть — немного, а там оказалось многовато...

— Оно-то так, но я разумею про себя, что ваша вина перед властью была малая.

— Это почему же так разумеешь?

— А потому. Мою сноху в тридцать третьем году присудили на десять лет. Отсидела семь, остальные скостили. Только в прошлом году вернулась. Украла в энтот голодный год на току четыре кило пшеницы. Не с голоду же ей с детьми было подыхать? По вольному хлебу ходила, ну и взяла не спрашаючи. Вот за эти десять фунтов пшеницы и пригрохали ей за каждый фунт по году отсидки. За них и отработала семь лет. А ты — четыре, стало быть, твоей вины вполовину ее меньше... Ай не так?

— За мной, отец, никакой вины не было, по ошибке осудили. Ты же знаешь, я не за кражу сидел, а темнишь в разговоре, сравниваешь. Но божий дар с поросятиной нельзя сравнить, не то сравнение получается. Тогда если бы за четыре кило краденого хлеба не сажали, так воровали бы по четыре центнера на душу, верно, папаша?

— Это уж само собой. Растянули бы колхозы по ниточке!

— Ну, вот мы с тобой и договорились.— Александр Михайлович рассмеялся.

Тихонько рассмеялся и овчар, прикрывая рот черной ладонью.

— А ты хитер, папаша, ты — себе на уме! — сказал Александр Михайлович.

— Хитра утка, она на день по сорок раз ухитряется жрать, а я какой же хитрый? С утра кислого молока похлебал с хлебушком и вот тяну до ночи, по вашей милости ушицы попробую — опять живой. У нас на хуторе один я с простиной в голове, а остальные все умные, все в политику вдарились. Вот, к примеру, залезет Иванова свинья к соседу Петру в огород, нашкодит там, а

Петро — нет чтобы добром договориться, вот как мы с тобой,— берет карандаш, слюнявит его и пишет в ГПУ заявление на Ивана: так, мол, и так, Иван, мой сосед, в белых служил и измывался над красноармейскими семьями. ГПУ этого Ивана за воротник и к себе на гости приглашает. Глядишь, а он уже через месяц в Сибири прохлаждается. Брат Ивана на Петра пишет, что он, мол, сам в карателях был и такое учинял, что и рассказать страшно! Берут и этого. А на брата уже карандаш слюнявит родственник Петра. Таким манером сами себя пересажали, и мужчин в хуторе осталось вовсе намале, раз-два и обчелся. Теперь в народе моих хуторян «карандашниками» зовут. Вот ведь как пересобачились. Вкус заимели один другого сажать, все политиками заделались. А раньше такого не было. Раньше, бывало, за обиду один другому морду набьет, на том и вся политика кончится. Теперь — по-новому.

— И ты, отец, на кого-нибудь писал?

— Бог миловал. На овечек, правда, хотел писать, жаловаться, что не слухают меня, старика, прут куда попадя, а все больше в люцерну... Я от такой житухи промеж людей и в овчары подался.

Николай разогрел остатки ухи, налил гостю полную миску, отрезал кусок хлеба. Старик ел не спеша, вытянув худую жилистую шею. Зубы у него были не по возрасту хорошие: краюшка черствого хлеба только похрустывала, когда он аккуратно откусывал большие куски. Чайную чашку водки он принял, почтительно склонив голову, выпил до дна и принялся за холодных окуней.

После чая, сытый, довольный, сказал:

— Давно так от души не ел, как нынче. Благодарствую, дай бог вам здоровья. К дому мне добираться далеко, ночую тут неподалеку с овчишками и кормлюсь кое-как, насухую, а нынче наелся у вас на два дня.

— Ты один управляешься, без подпаска? — спросил Николай, опрокидывая вверх дном перемытую посуду.

— Один. Помощник мой дома сидит, к экзаменам готовится. Он у меня десятилетку закончил,— с гордостью сказал старик.— Да я и один управляюсь.

— Не боишься, что овечек ночью волки пощупают?

— Не, у меня с волками уговор на время: моих не трогать. Промеж нас условие: ты меня не трогай, и я тебя не буду трогать. В этом лесу нонешней весной знакомая волчица ощенилась, вот я возле ее жилья и пасу овечек. Она вблизу не берет, она далеко от своего гнезда ходит промышлять. И супругу своему не велит поблизости разбойничать. И так я до осени поручаю ей овечек. В августе она молодых волчат на бахчи поведет, арбузами будет кормить. Скажи на милость, как эта животная умеет спелый арбуз от зеленого отличить? Нюх у нее работает, что ли? Ну, а как заосеняет — нашей дружбе до предбудущего года конец. Тогда я от нее овечек подальше держу. Не ровен час заради своих щенят согрешит по холоду, а мне ее зорить нет охоты, пущай живет. Волчица старая, разумная и ко мне уважительная, вот и пущай в спокое доживает. Ей и так уж осталось белому свету радоваться лет пять от силы... Вот вы и мотайте на ус, люди добрые, волчице до холодов можно верить, а вот Хитлеру — не надо бы! Животная — она всегда надежнее, у ней своя, звериная, совесть есть. А у Хитлера какая же совесть? Вон он сколько держав под себя подмял! Ему холодов дожидаться не к чему! У него щенята все как есть повыросли. У них уж небось по шкуркам ость пошла, они уж вроде лютых переярков стали...

Овчар еще раз поблагодарил за ужин, попрощался:

— Пойду к своим овечкам дозоревывать. Они без меня скучают. Все-таки с человеком им спокойнее.

Постукивая костылем по пересохшей земле, он вышел из света костра, исчез в темноте.

— Занятный старик! — с удовольствием про-

говорил Александр Михайлович, и по голосу было слышно, что он улыбается в темноте.— А насчет Гитлера он в общем-то правильно соображает. Значит, в народе поговаривают о войне?

— Всякое говорят. А ты как думаешь, генерал?

— Мои друзья-военные ждут. Успеть бы только перевооружить армию новой техникой. Но дадут ли они нам на это время? Там тоже не дураки. Дважды мне пришлось сталкиваться с немцами, в мировую войну, и в Испании на них пришлось посмотреть. Боюсь, что на первых порах тяжело нам будет. Армия у них отмобилизованная, обстрелянная, настоящую боевую выучку за два года приобрела, да и вообще противник серьезный. Но, черт возьми, ведь «русские прусских всегда бивали»? Побьем и на этот раз! Какой ценой? Ну, браток, когда вопрос станет — быть или не быть,— о цене не говорят и не спрашивают! Сообщения нашей печати успокаивают, а вообще-то поживем — увидим! Я лично не исключаю и того, что воевать будем скоро, возможно — в этом году.

Они проговорили до рассвета. Едва лишь забрезжило, Александр Михайлович снова вскипятил чайник, на заварку всыпал целую горсть чая и, потягивая из чашки черный, обжигающий напиток, сказал:

— Привык пить там еще, в Сибири, предельно горячий, все из желания согреться, а теперь и не надо бы, но не могу отвыкнуть. Да, вот о чем тебя попрошу. Ты пригласи как-нибудь своего Ивана Степановича. Надо с ним потолковать. У него наивное представление о действительности. Если нескольких человек освободили, это не значит, что всех подряд будут освобождать. Мерзавец, который нас упрятал, сам оказался шпионом, притом с долголетним стажем. И только когда органы докопались и окончательно убедились в том, что он работал на немецкую разведку да еще со времен нашего сближения с Германией, еще со времен Рапалло,— взялись за проверку наших дел,

убедились в том, что предъявленные нам обвинения — чистейшая липа, ну, и освободили, принеся соответствующие извинения... Мы были уже в лагерях, а дела наши два года разматывались до благополучного для нас кончика. Сложно все, Коля. До чертиков сложно! Давай, пожалуй, на этом закончим сегодня, а не то и рыбалка на ум не пойдет. Эту отраву вкушать надо небольшими порциями, иначе дурнить будет. Да у нас и времени в запасе целая неделя, обо всем успеем поговорить. Показывай-ка лучше свою сазанью снасть и просвещай, что надо делать, чтобы изловить этого зверя. Окуней я половил, а теперь мне надо добыть сазана, чтобы презентовать его Серафиме Петровне. Я должен быть до конца галантен. Понятен тебе мой рыцарский порыв?

— Вполне. Но сазаньи удочки ты не очень критикуй, они проверены на деле.

Николай принес от берега две удочки, сказал:

— Принцип ловли тот же, так же надо забрасывать лесу. Только насадка другая. Видишь ли, здесь сазан на растительную насадку — ну, на тесто, кашу, картошку вареную — не берет, не привык он к постной пище, не вегетарианец он. Вот потому-то я вчера и добывал ракушки. Это — его любимое блюдо.

Александр Михайлович, посмотрев и ощупав лесы, пришел в ужас:

— Позволь, Коля, о каких там принципах ловли и насадках может идти речь, если у тебя лесы толщиной с толстую спичку? Какой же идиот сазан возьмет на такой канат? На твоей леске можно Воронка удержать!

— А что прикажешь делать? — возразил Николай.— Тонкую лесу хороший сазан рвет, как гнилую нитку. Здесь нужна глухая снасть, катушка не годится, кругом поблизости карши. Усвоил?

— А хорошие сазаны здесь есть?

— Увидишь сам или почувствуешь на удочке. Тонкая леса исключена, не выдержит. Сазан уходит с крючком во рту, раненый, и я — за надежную снасть. Я против подранков и на охоте и на

рыбалке. Эти лесы я сплел из двенадцати льняных ниток, пусть попробует оборвет.

— И тоньше нет в запасе?

— Нет и не будет.

— Ну тогда делать нечего, будем ждать поклевок на эти веревки. Чахлое дело...

— Так уж и веревки. Просто немного утолщенные лесы.

— Мой жестокий черный черкес, не будем спорить, но лески толсты.

— Согласен, но зато надежны. А потом, Саша, рассуждай здраво, без предубежденности: захочет сазан кушать — возьмет и на толстую, не захочет — не возьмет и на шелковую ниточку. Учти и такое, Песчаная речка — глухая рыбья провинция: сазаны тут сплошь кондовые, малограмотные, ни одного нет с высшим образованием, вот они и берут на всякую лесу, берут, надеясь на свою силушку, и преспокойно не только толстые лесы рвут, но и крючки ломают, а иногда и сокрушают удилища.

Александр Михайлович недоверчиво усмехнулся, но ничего не сказал. Они спустились с обрыва. Александр Михайлович снова сел ловить с лодки. Николай устроился на берегу, метрах в двадцати выше по течению, возле поваленного половодьем, наполовину затонувшего тополя.

Утро было прохладное. Над водой подымался туман. Тяжелая, ядреная роса клонила к земле листья травы. И снова разноголосый птичий гомон покорил Александра Михайловича, властно заставил забыть обо всем на свете. Только легкая, неосознанная грусть тихонько теплилась у него на сердце, когда издалека доносился томительный и малый голос кукушки.

Прошло с полчаса. Удочки с насадкой из мякоти ракушек-перловиц были неподвижны. При взгляде на толстые светло-серые лесы, вяло, безжизненно свисавшие с кончиков удилищ, у Александра Михайловича возникала досада, а в глазах сквозила явная безнадежность. «Дохлое дело! Напрасно просижу зо́рю. Лучше бы уж снова

взяться за окуней»,— подумал он и потянулся за лежавшей на корме пачкой «Беломора». Но тут внимание его привлек мягкий не то всплеск, не то всхлип. Глянув повыше удилищ, он увидел, как посреди плеса, раздвинув изогнутой спиной воду, показался метровый бронзово-золотистый сазан. Он взмахнул широким, как просяной веник, оранжево-красным хвостом и так оглушительно хлопнул им по воде, что крутые волны пошли кругами и, дойдя до лодки, высоко подняли и закачали низко осевшую корму. И тотчас же, словно дождавшись сигнала, у противоположного берега свечой вскинулся небольшой сазан, а второй — немыслимой толщины — размахнул хвостом воду левее лодки, блеснул червонным золотом чешуи и с тихим стоном снова погрузился в зеленоватую волну.

Игра сазанов продолжалась почти беспрерывно минут пятнадцать, затем удары стали реже. Все это время Александр Михайлович в немом изумлении смотрел на разбушевавшийся плес и не успевал считать выпрыгивавших сазанов и тех из них, которые только на секунду показывались из воды и тонули, с кряхтением погружаясь в родную стихию.

— Теперь жди! — негромко сказал Николай.

И в ответ ему Александр Михайлович, не в силах сдержать восторга, уже совсем не по-рыбацки заорал во весь голос:

— Это черт знает что такое! Я такого представления, Колька, за всю жизнь не видывал!

— Умолкни, ради бога! — все так же негромко посоветовал Николай.

Горящими глазами Александр Михайлович уставился на кончики удилищ, покорно замолчал. Комар больно впился ему в мочку левого уха, но, стоически выдерживая зуд, рыбак даже руки не поднял, ждал потяжки. Однако счастье обошло его стороной. Николай подсек небольшого, но удивительно резвого сазана и молча старался подтянуть его к берегу.

— Не дури, Колька! Не смей, чертов ингуш,

тянуть его силком! Дай ему порезвиться, он сам уходится! — азартно советовал Александр Михайлович, стоя в корме во весь рост, от волнения часто переступая босыми ногами.

При одном виде согнутого в дугу удилища Александр Михайлович ощущал озноб во всем теле.

Уже поднявшись на поверхность и глотнув воздуха, сазан собрал последние силы и еще минут пять бойко ходил кругами, оставляя за лесой белесую, косо срезанную прозрачную пленку воды. Вскоре желтобокий красавец килограмма на четыре весом улегся на дне вместительного подсачка. Александр Михайлович не вытерпел, пошел посмотреть. Сидя на корточках, он любовно гладил скользкий, прохладный бок рыбы, с негодованием говорил:

— Везет же этим жгучим брюнетам, всяким ногайцам, кумыкам и прочим представителям нацменьшинств и малых народностей! А ты — исконний русский человек — сидишь на исконней, принадлежавшей еще твоим предкам реке, сидишь, как дурак, и этот распроклятый сазан обходит тебя и неизвестно почему берется на удочку черненького потомка некогда покоренного крымского татарина! Анафемское безобразие! Чертовщина какая-то! Какой мудрец разберется в этой абракадабре! Как хочешь, но я сгораю от черной зависти!

— Иди, садись в лодку. Счастье тебя ждет, о рыцарь, вверивший свое сердце Серафиме прекрасной,— готовя кукан, улыбался Николай.

— Тебе шуточки, а как я теперь на нее взгляну? Когда она положила в корзину пол-литра водки, я растроганно прижал руку к сердцу, прошептал: «Серафима Петровна, самый жирный, самый крупный сазан из Пахомовой ямы, собственноручно пойманный мною, завтра будет лежать у ваших ног».

— А она что?

— Она царственно улыбнулась, сказала: «Я верю в вас, Александр Михайлович».

— Дорогой Александр Михайлович?

— Нет, просто Александр Михайлович, но «дорогой» висело в воздухе, то есть подразумевалось само собой.

— Так вот, «просто Александр Михайлович», чтобы ваше обещание не повисло в воздухе, чтобы поймать реального, а не подразумеваемого сазана, чтобы вам еще раз царственно улыбнулась ваша Дульцинея Петровна,— извольте идти, проверить насадку и упорно ждать.

— Есть идти, проверить насадку и упорно ждать! — Александр Михайлович круто повернулся, чуть не упал, зацепившись ногой за глыбу глины, но выправился и, посмеиваясь, проворно зашагал к лодке.

На восходе солнца стало еще прохладнее, потянул легкий ветерок, исчез туман, и уже окрасились, светло зазеленели кроны тополей, мягко озаренные низким солнцем.

«Мелкий и средний сазан берут с ходу, рывком, а очень крупный давит солидно, медленно, степенно гнет кончик удилища к воде»,— наставлял брата Николай. И вот именно такой клев вскоре заставил Александра Михайловича пережить минуту наивысшего напряжения. Леса на правой удочке выпрямилась, чуть-чуть зашевелилась, пошла книзу, и следом медленно, страшно медленно стал клониться к воде кончик удилища. Собрав всю волю, Александр Михайлович дождался, когда кончик удилища уткнулся в воду и только тогда плавно, но сильно подсек. И мгновенно пришло такое ощущение, будто крючок на дне намертво зацепился за корягу. А уже в следующий миг мощная потяжка заставила Александра Михайловича вскочить на ноги, взяться за комель удилища обеими руками. Неподвластная сила, чуть ли не равная его силе, гнула удилище с нарастающим тяжелым упорством.

Николай бежал к лодке, преодолевая свалившиеся с обрыва груды земли саженными прыжками. В левой руке его развевался поднятый над головой подсак.

— Удилище! Удилище отводи назад! Не давай ему вытянуть лесу напрямую! — кричал он.

Но Александр Михайлович не слышал его. Он уперся левой ногой в сиденье на корме, откинулся назад, противоборствуя дикой силе, вырывавшей из его рук удилище, и слышал только один пугающий звук: по удилищу, от середины до самой чакановки, шел сухой треск, будто сквозь дерево пропускали электрический ток. Этот треск он не только слышал, но и ощущал побелевшими от напряжения стиснутыми пальцами и мускулами рук.

Николай уже подбежал к лодке, успев на бегу крикнуть:

— Бросай! Да бросай же!..

И в этот момент удилище, согнутое чуть ли не от самых рук рыбака и вытянутое в одну линию с лесой, со свистом распрямилось, сухо и звонко щелкнула оборванная леса. Все было кончено.

— Видел? — хриплым голосом трагически вопросил качнувшийся Александр Михайлович, поворачивая к Николаю бледное лицо.

— Что видел? Бросать надо было вовремя!

— Но... такой канат и бросать?

— Теперь ты убедился, какие сазаны есть в Песчаной? Наука маловеру!

— Нет, Коля, но это же невероятно! Это черт знает что такое! Тянул, как воротом! Силища неправдоподобная! Я его и ото дна не оторвал... Нет, с такой рыбалкой инфаркт мне обеспечен, верный инфаркт! Я до сих пор не приду в себя! У меня все еще, как у мальчишки, дрожат колени...

— Ничего, дыши глубже, и все пройдет.

— К черту с твоими советами! Сидеть буду на этой яме, пока не поймаю родного дедушку этого сазана. Хоть месяц буду сидеть, а поймаю! А что толку, если бы бросил удилище? Ведь он наверняка затащил бы в корягу!

— Наверняка.

— А что же ты говоришь: бросать надо вовремя?

— Все-таки какая-то надежда, авось пошел бы на ту сторону. Такие случаи бывали...

— В вашей деревне с поросенком?

Николай расхохотался, дал волю давно сдерживаемому смеху. Улыбнулся и Александр Михайлович, но что-то очень кисло.

Он все еще никак не мог справиться с волнением, и, когда закуривал, руки его заметно дрожали, и он долго не мог извлечь из коробка спичку.

Около восьми часов у Александра Михайловича взялся еще один сазан. Он так стремительно хватанул насадку и пошел в глубину, что закуривавший в это время рыбак уронил на мокрое днище пачку папирос и едва успел схватить удилище. Сазан поднялся вполводы, лихо сделал два круга, а потом пошел кверху, у самой поверхности взвернул зеленый бурун воды, буйно, с переплеском хлопнул хвостом и сошел с крючка.

Николай был уже у лодки, уже готовил подсак, затопив его в воду, когда сазан так коварно обманул надежды рыбаков.

На этот раз Александр Михайлович внешне спокойно перенес свое поражение. Рассматривая крючок, он слабым голосом проговорил:

— Не везет! Чертовски не везет! Утешаюсь только тем, что этот сазан вовсе не дедушка первому, а скорее всего двоюродный племянник...

— Слабенькое утешение,— сказал Николай, сочувственно улыбаясь.

— Милый мой осетин, в беде и слабое утешение — на вес золота. У нас водка осталась?

— Больше половины бутылки и еще одна непочатая.

— Откуда еще одна?

— Тайком увез, сунул в плащ, когда выходили из дому...

— Мой дорогой имеретинец! Ты — гений! Сейчас пойду на стан и волью в себя целиком чашку, чтобы залить горе. Я полностью выбит из колеи и лишен душевного равновесия. Я, как мякоть вот этой ракушки, расползаюсь на собственных глазах...

— Но тебе же нельзя пить, Саша.

— В этом случае мне даже сам Боткин разрешил бы. Не перечь старшему! Не прекословь!

Они только что собрались завтракать в тени гостеприимного вяза, как на той стороне послышался шум автомобильного мотора, короткий сигнал.

— Наверное, по мою душу,— вглядываясь в прибрежные заросли белотала, недовольно проговорил Николай.

— Что-нибудь случилось?

— Может быть, совещание, мало ли что может случиться. Во всяком случае, очень некстати. Если я уеду, Саша, ты оставайся. Завтра я либо сам приеду к тебе и привезу харчишек, либо кого-нибудь пришлю.

— С удовольствием!..

— Одному не будет скучно?

— Что ты! Для меня рыбалка и одиночество — целительный бальзам. Однако кто же это приехал?

Из кустов белотала вышли двое, подошли к берегу. Николай, вглядевшись, сказал:

— Шофер райкомовской машины и инструктор райкома Ваня Петлин. Нет, тут что-то другое...

— Перевезите меня, Николай Семенович! — послышалось с того берега.

Николай молча спустился к лодке.

Только в прошлом году демобилизованный из Красной Армии старший лейтенант Петлин подошел к Александру Михайловичу строевым шагом, четко приложил ладонь к околышу артиллерийской фуражки.

— Разрешите обратиться, товарищ генерал.— И подал конверт.— Шифровка на ваше имя.

Александр Михайлович прочитал. Широко улыбаясь, крепко обнял стоявшего рядом Николая. Он тяжело дышал и говорил с короткими паузами:

— Ну, брат, приказывают немедленно прибыть в Москву за назначением. Генштаб прика-

зывает. Вспомнил обо мне Георгий Константинович Жуков! Что ж, послужим Родине и нашей Коммунистической партии! Послужим и верой и правдой до конца! — Он стиснул в объятиях Николая, и тот впервые за все время увидел в помутневших глазах брата слезы.

* * *

На синем, ослепительно синем небе — полыхающее огнем июльское солнце да редкие, раскиданные ветром, неправдоподобной белизны облака. На дороге — широкие следы танковых гусениц, четко отпечатанные в серой пыли и перечеркнутые следами автомашин. А по сторонам — словно вымершая от зноя степь: устало полегшие травы, тускло, безжизненно блистающие солончаки, голубое и трепетное марево над дальними курганами, и такое безмолвие вокруг, что издалека слышен посвист суслика и долго дрожит в горячем воздухе сухой шорох красных крылышек перелетающего кузнечика.

Николай шел в первых рядах. На гребне высоты он оглянулся и одним взглядом охватил всех уцелевших после боя за хутор Сухой Ильмень. Сто семнадцать бойцов и командиров — остатки жестоко потрепанного в последних боях полка — шли сомкнутой колонной, устало переставляя ноги, глотая клубившуюся над дорогой горькую степную пыль. Так же, слегка прихрамывая, шагал по обочине дороги контуженный командир второго батальона капитан Сумсков, принявший на себя после смерти майора командование полком, так же покачивалось на широком плече сержанта Любченко древко завернутого в полинявший чехол полкового знамени, только перед отступлением добытого и привезенного в полк откуда-то из недр второго эшелона, и все так же, не отставая, шли в рядах легкораненные бойцы в грязных от пыли повязках.

Было что-то величественное и трогательное в медленном движении разбитого полка, в мерной

поступи людей, измученных боями, жарой, бессонными ночами и долгими переходами, но готовых снова, в любую минуту, развернуться и снова принять бой.

Николай бегло оглядел знакомые, осунувшиеся и почерневшие лица. Сколько потерял полк за эти проклятые пять дней! Почувствовав, как дрогнули его растрескавшиеся от жары губы, Николай поспешно отвернулся. Внезапно подступившее короткое рыдание спазмой сдавило его горло, и он наклонил голову и надвинул на глаза раскаленную каску, чтобы товарищи не увидели его слез... «Развинтился я, совсем раскис... А все это жара и усталость делают»,— думал он, с трудом передвигая натруженные, будто свинцом налитые ноги, изо всех сил стараясь не укорачивать шага.

Теперь он шел не оглядываясь, тупо смотрел себе под ноги, но перед глазами его опять, как в навязчивом сне, вставали разрозненные и удивительно ярко запечатлевшиеся в памяти картины недавнего боя, положившего начало этому большому отступлению. Опять он видел и стремительно ползущую по склону горы, грохочущую лавину немецких танков, и окутанных пылью перебегающих автоматчиков, и черные всплески разрывов, и рассеянных по полю, по нескошенной пшенице, в беспорядке отходящих бойцов соседнего батальона... А потом — бой с мотопехотой противника, выход из полуокружения, губительный огонь с флангов, срезанные осколками подсолнухи, пулемет, зарывшийся рубчатым носом в неглубокую воронку, и убитый пулеметчик, откинутый взрывом, лежащий навзничь и весь усеянный золотистыми лепестками подсолнуха, причудливо и страшно окропленными кровью...

Четыре раза немецкие бомбардировщики обрабатывали передний край на участке полка в тот день. Четыре танковые атаки противника были отбиты. «Хорошо дрались, а не устояли...» — с горечью подумал Николай, вспоминая.

На минуту он закрыл глаза и снова увидел

цветущие подсолнухи, между строгими рядами их стелющуюся по рыхлой земле повитель, убитого пулеметчика... Он стал несвязно думать о том, что подсолнух не пропололи, наверное, потому, что в колхозе не хватило рабочих рук; что во многих колхозах вот так же стоит сейчас ни разу не прополотый с весны, заросший сорняками подсолнух; и что пулеметчик был, как видно, настоящий парень — иначе почему же солдатская смерть смилостивилась, не изуродовала его, и он лежал, картинно раскинув руки, весь целенький и, словно звездным флагом, покрытый золотыми лепестками подсолнуха? А потом Николай подумал, что все это — чепуха, что много пришлось ему видеть настоящих парней, изорванных в клочья осколками снарядов, жестоко и мерзко обезображенных, и что с пулеметчиком это просто дело случая: тряхнуло взрывной волной — и посыпался вокруг, мягко слетел на убитого парня молодой подсолнуховый цвет, коснулся его лица, как последняя земная ласка. Может быть, это было красиво, но на войне внешняя красота выглядит кощунственно, оттого так надолго и запомнился ему этот пулеметчик в белесой, выгоревшей гимнастерке, раскидавший по горячей земле сильные руки и незряче уставившийся прямо на солнце голубыми потускневшими глазами...

Усилием воли Николай отогнал ненужные воспоминания. Он решил, что лучше всего, пожалуй, ни о чем сейчас не думать, ничего не вспоминать, а вот так идти с закрытыми глазами, ловя слухом тяжкий ритм шага, стараясь по возможности забывать про тупую боль в спине и отекших ногах.

Ему захотелось пить. Он знал, что воды нет ни глотка, но все же потянулся рукой, поболтал пустую фляжку и с трудом проглотил набежавшую в рот густую и клейкую слюну.

На склоне высоты ветер вылизал дорогу, начисто смел и унес пыль. Неожиданно гулко зазвучали на оголенной почве до этого почти

неслышные, тонувшие в пыли шаги. Николай открыл глаза. Внизу уже виднелся хутор — с полсотни белых казачьих хат, окруженных садами,— и широкий плес запруженной степной речки. Отсюда, с высоты, ярко белевшие домики казались беспорядочно рассыпанной по траве речной галькой.

Молча шагавшие бойцы оживились. Послышались голоса:

— Должен бы привал тут быть.

— Ну, а как же иначе, отмахали с утра километров тридцать.

Сзади Николая кто-то звучно почмокал губами, сказал скрипучим голосом:

— Родниковой, ледяной водицы по полведра бы на брата...

Миновав неподвижно распростершую крылья ветряную мельницу, вошли в хутор. Рыжие, пятнистые телята лениво щипали выгоревшую траву возле плетней, где-то надсадно кудахтала курица, за палисадниками сонно склоняли головки ярко-красные мальвы, чуть приметно шевелилась белая занавеска в распахнутом окне. И таким покоем и миром пахнуло вдруг на Николая, что он широко открыл глаза и затаил вздох, словно боясь, что эта знакомая и когда-то давным-давно виденная картинка мирной жизни вдруг исчезнет, растворится, как мираж, в знойном воздухе.

На площади, густо заросшей лебедой, снова умолк, оборвался мерный топот пехоты. Слышно было только, как шаркают по голенищам поникшие, тяжелые метелки травы, покрывая зеленой пыльцою сапоги, да к удушливому запаху пыли примешался тонкий и грустный аромат доцветающей лебеды.

Война докатилась и до этого затерянного в беспредельной донской степи хуторка. Во дворах, впритирку к стенам сараев, стояли автомашины медсанбата, по улицам ходили красноармейцы саперной части, доверху нагруженные трехтонки везли по направлению к речке свеже-

распиленные вербовые доски, в саду, неподалеку от площади, расположилась зенитная батарея. Орудия стояли возле деревьев, искусно замаскированные зеленью, на отвалах недавно вырытых окопов лежала увядшая трава, а грозно вздыбленный ствол крайнего к переулку орудия доверчиво обнимала широкая ветка яблони, густо увешанная бледно-зелеными недоспелыми антоновками.

Звягинцев толкнул Николая локтем, обрадованно воскликнул:

— А ведь это наша кухня, Микола! Подыми нос выше! И привал у нас будет, и речка с водой, и Петька Лисиченко с кухней, какого же тебе еще хрена надо?

Полк разместился у самого берега речки в большом запущенном саду. Холодную, чуть солоноватую воду Николай пил маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра. Глядя на него, Звягинцев сказал:

— Вот так ты и письма от сына читаешь: прочтешь немного, оторвешься — и опять за письмо. А я не люблю тянуть. Я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь.

Он взял из рук Николая ведро и, запрокинув голову, долго, не переводя дыхания, пил большими, звучными, как у лошади, глотками. Заросший рыжей щетиной кадык его судорожно двигался, серые выпуклые глаза были блаженно прищурены. Напившись, он крякнул, вытер рукавом гимнастерки губы и мокрый подбородок, недовольно сказал:

— Вода-то не очень хороша, только в ней и доброго, что холодная да мокрая, а соли бы можно и поубавить. Будешь еще пить?

Николай отрицательно качнул головой, и тогда Звягинцев вдруг спросил:

— Тебе все больше сынок письма шлет, а от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдовой:

И неожиданно для самого себя Николай ответил:

— Нет у меня жены. Разошлись.

— Давно?

— В прошлом году.

— Вот как,— сожалеюще протянул Звягинцев.— А дети с кем же? У тебя их, никак, двое?

— Двое. Они с моей матерью живут.

— Ты бросил жену, Микола?

— Нет, она меня... Понимаешь, в первый день войны приезжаю домой из командировки, а ее нет, ушла. Оставила записку и ушла...

Николай говорил охотно, а потом как-то сразу осекся и замолчал. Нахмурившись и плотно сжав губы, он сел в тени под яблоней и все так же молча стал разуваться. В душе он уже сожалел о сказанном. Надо же было целый год носить на сердце немую, невысказанную боль, чтобы сейчас, вот так, ни с того ни сего, разоткровенничаться перед первым попавшимся человеком, в голосе которого послышались ему сочувственные нотки. И чего ради он разболтался? Какое дело Звягинцеву до его переживаний?

Звягинцев не видел низко склоненного, помрачневшего лица Николая и продолжал расспросы:

— Что же она, стерва, другого сыскала?

— Не знаю,— сухо ответил Николай.

— Значит, нашла! — убежденно сказал Звягинцев и сокрушенно покачал головой.— Ведь вот какой народ, эти бабы! Парень ты из себя видный, получал, конечно, хорошее жалованье, какого же ей черта надо было? Об детях-то она, сука, подумала?

Взглянув внимательнее на затененное каской лицо Николая, Звягинцев понял, что дальше вести этот разговор не следует. С тактом, присущим простым и добрым людям, он замолчал, вздыхая и неловко переминаясь с ноги на ногу. А потом ему стало жаль этого большого и сильного человека, товарища, рядом с которым вот уже два месяца он воюет и делит горькую солдатскую нужду, захотелось его утешить и рассказать о себе, и он присел рядом, заговорил:

— А ты брось, Микола, горевать о ней. Отвоюем, тогда видно будет. Главное — дети у тебя есть. Дети, брат, сейчас — главная штука. В них самый корень жизни, я так понимаю. Им придется налаживать порушенную жизнь, война-то разыгралась нешуточная. А женщины, скажу я тебе откровенно,— самый невероятный народ. Иная в три узла завяжется, а своего достигнет. Ужасно ушлое животное женщина, я, брат, их знаю. Видишь рубец у меня на верхней губе? Тоже прошлого года случай. На Первое мая я и другие мои товарищи комбайнеры затеялись выпить. Собрались семейно, с женами, гуляем, гармошка нашлась, подпили несколько. Ну, и я, конечно, подпил и жена тоже. А жена у меня, как бы тебе сказать, вроде немецкого автоматчика: если зарядит что — не кончит, пока все обоймы не порасстреляет, и тоже норовит нахрапом брать.

Была на этой вечеринке одна барышня, очень она хорошо «цыганочку» танцевала. Смотрю я на нее, любуюсь, и никакой у меня насчет ее ни задней, ни передней мысли нет, а жена подходит, щипает за руку и шипит на ухо: «Не смотри!» Вот, думаю, новое дело, что же мне на вечере зажмурки сидеть, что ли? Опять смотрю. Она опять подходит и щипает за ногу, с вывертом, до глубокой боли. «Не смотри!» Отвернулся я, думаю, черт с тобой, не буду смотреть, лишусь такого удовольствия. После танцев садимся за стол. Жена против меня садится, и глаза у нее, как у кошки: круглые и искры мечут. А у меня синяки на руке и на ноге ноют. Забывшись, гляжу я на эту несчастную барышню с неудовольствием и думаю: «Через тебя, чертовка, приходится незаслуженно терпеть! Ты ногами вертела, а мне расплачиваться». И только я это думаю, а жена хватает со стола оловянную тарелку и со всего размаху — в меня. Мишень, конечно, подходящая, морда у меня была тогда толстая. Не веришь, тарелка согнулась пополам, а у меня из носа и из губы — кровь, как при серьезном ранении.

Барышня, конечно, охает и ужасается, а гармонист упал на диван, ноги задрал выше головы, смеется и орет дурным голосом: «Бей его самоваром, у него вывеска выдержит!» Света я не взвидел! Встаю и пускаю ее, жену то есть, по матушке. «Что же ты,— говорю,— зверская женщина, делаешь, так твою и разэтак?!» А она мне спокойным голосом отвечает: «Не пяль глаза на нее, рыжий черт! Я тебя предупреждала». Тут я успокоился несколько, сел и обращаюсь к ней вежливо, на «вы». «Так-то,— говорю,— вы, Настасья Филипповна, показываете свою культурность? Очень даже неприлично это с вашей стороны тарелками при людях кидаться, имейте это в виду, и дома мы с вами поговорим по душам».

Ну, ясно, что сорвала она весь мой праздник. Губа рассечена надвое, один зуб качается, белая вышитая рубашка в крови, и нос распух и даже покосился куда-то в сторону. Пришлось уходить из компании. Встали мы, попрощались, извинились перед хозяевами, все как полагается, пошли домой. Она идет впереди, а я, как виноватый, сзади. Дорогой шла она, проклятая, как живая, а только порог переступила — и хлоп в обморок. Лежит и не дышит, а морда у нее красная, как свекла, и левый глаз сделает щелкой: нет-нет да и посмотрит на меня. Ну, думаю, тут уж не до ругани, как бы чего плохого не случилось с бабой. Кое-как отлил ее водой, отпечаловал от смерти. Немного погодя она опять в обморок. На этот раз и глазом не смотрит. Опять ведро воды на нее вылил, она и отошла, крик подняла, в слезы пустилась, ногами брыкает.

«Ты, говорит,— такой-сякой, новую шелковую кофточку мне загубил, всю водою залил, теперь не отстирается! Изменник! На всякую девку глаза лупишь! Жить не могу с тобой, с извергом!» — и все такое прочее. Ну, думаю, раз ногами брыкаешь и про кофточку вспомнила, значит — ожила, значит — перезимуешь, милая!

Присел к столу, курю, гляжу: любезная моя встала, полезла в сундук, имущество свое в узе-

лок собирает. Дошла с узелком до двери и говорит: «Ухожу от тебя. У сестры жить буду». Я, конечно, вижу, что на ней сатана верхом поехал и что поперек ей сейчас ничего говорить нельзя, потому и согласился. «Иди,— говорю,— там тебе лучше будет». «Ах, вот как! — говорит.— Такая, значит, твоя ко мне любовь, что ты и не удерживаешь меня? Так никуда же я не пойду, а возьму сейчас и повешусь, чтобы тебя, сукиного сына, всю жизнь совесть мучила!»

Оживленный воспоминаниями, Звягинцев достал кисет и, улыбаясь, покачивая головой, стал сворачивать папироску. Николай держал в руках влажные, горячие от пота портянки и тоже улыбался,но сонно и вяло. Надо бы дойти до колодца и постирать портянки, но ему не хотелось прерывать увлекшегося своим рассказом Звягинцева, да и сил не было, чтобы подняться и идти по солнцепеку. Закурив, Звягинцев продолжал:

— Подумал я и говорю: «Что ж, Настасья Филипповна, вешайся, веревка за сундуком лежит». Кинула она свой узел, схватила веревку и — в горницу. Стол подвинула, привязала один конец к крюку, на каком когда-то люльку детскую вешали, на другом петлю сделала и надела себе на шею. Со стола не прыгает, а подогнула колени, подбородком в петлю упирается и хрипит, будто и на самом деле душится. А я сижу возле стола, дверь-то в горницу чуть приоткрыта, и мне всю эту картину очень даже видно. Подождал я немного, а потом громко так говорю: «Ну, слава богу, кажись, повесилась. Отмучился я!» Эх, как она даст прыжка со стола, да ко мне с кулаками: «Так ты рад бы был, если б я повесилась?! Такой-то ты любящий муж?!» Насилу ее утихомирил. Хмель с меня как рукой сняло, даром что на вечере почти литр водки выпил. Сижу после этого сражения и думаю: люди в Народный дом пошли спектакль смотреть, а у меня дома — свое представление, бесплатное. И смех меня разбирает, и на душе как-то невесело.

Вот на какие штуки женщины — это чертово

семя — способны! Да ведь это хорошо, что детишек дома в ту ночь не было: забрала их к себе родительница моя погостить, а то ведь могли их перепугать до смерти.

Звягинцев помолчал и заговорил снова, но уже без прежнего воодушевления:

— Не думай, Микола, что мы всю жизнь с женой так жили. Вот только последние два года испортилась она у меня. А испортилась она, прямо скажу, через художественную литературу.

Восемь лет жили, как люди, работала она прицепщиком на тракторе, ни в обмороки не падала, никаких фокусов не устраивала, а потом повадилась читать разные художественные книжки,— с этого и началось. Такой мудрости набралась, что слова попросту не скажет, а все с закавыкой, и так эти книжки ее завлекли, что ночи напролет читает, а днем ходит, как овца круженая, и все вздыхает, и из рук у нее все валится. Вот так раз как-то вздыхала-вздыхала, а потом подходит ко мне с ужимкой и говорит. «Ты бы, Ваня, хоть раз мне в возвышенной любви объяснился. Никогда я от тебя не слышала таких нежных слов, как в художественной литературе пишут». Меня даже зло взяло. «Дочиталась!» — думаю, а ей говорю: «Ополоумела ты, Настасья! Десять лет живем с тобой, трех детей нажили, с какого же пятерика я должен тебе теперь в любви объясняться? Да у меня и язык не повернется на такое дело! Я смолоду никому в нежных словах не объяснялся, а все больше руками действовал, а сейчас и вовсе не стану, не такой уж я дурак, как ты думаешь! И ты бы,— говорю ей,— вместо того, чтобы глупые книжки читать, за детьми лучше присматривала». А дети и на самом деле пришли в запустение, бегают, как беспризорники, грязные, сопливые, да и в хозяйстве все идет через пень колоду.

Подумай, Микола, разве это дело? Я, конечно, не против культурных развлечений и сам люблю почитать хорошую книжку, в какой про технику, про моторы написано. Были у меня разные инте-

ресные книжки: и уход за трактором, и книга про мотор внутреннего сгорания, и установка дизеля на стационаре, не говоря уже про литературу о комбайнах. Сколько раз, бывало, просил: «Возьми, Настасья, прочитай про трактор. Очень завлекательная книжка, с рисунками, с чертежами. Тебе надо это знать, ты же прицепщиком работаешь». Думаешь, читала она? Черта с два! Она от моих книжек воротила нос, как черт от ладана, ей художественную литературу подавай, да такую, чтобы оттуда любовь лезла, как опара из горшка. И ругал, и добром просил — не помогло. А бить ее — в жизни не бил, потому что я, до того как на комбайнера выучился, шесть лет молотобойцем работал и рука у меня стала невыносимо тяжелая.

Вот так, братец ты мой, семейная жизненка и ушла у нас раскорякой до той поры, как меня в армию не призвали. А ты думаешь, сейчас, в разлуке, мне легче? Как бы не так! Скажу тебе откровенно и по секрету: никак переписку со своей Настасьей Филипповной не налажу. Не выходит, да и все, хоть слезами плачь! Ты сам, Микола, знаешь, каждому из нас тут, на фронте, приятно получить письмо из дому, читают их один одному вслух, вот и ты мне письма от сынишки прочитывал, я а жениного письма никому почитать не могу, потому что мне стыдно. Еще когда под Харьковом были, получил от нее раз за разом три письма, и каждое письмо начинается так: «Дорогой мой цыпа!» Прочитаю — и уши у меня огнем горят. Откуда она это куриное слово выковыряла — ума не приложу, не иначе из художественной книжки. Ну, писала бы по-людски: «дорогой Ваня» или там еще как, а то — «цыпа». Когда дома был — все больше рыжим чертом звала, а как уехал на фронт — сразу «цыпой» сделался. И во всех письмах скороговоркой, бочком как-то сообщит, что дети живы-здоровы, новостей в МТС особых нет, а потом дует про любовь на всех страницах, да такими непонятными, книжными словами, что у меня от

них даже туман в голове сделается и какое-то кружение в глазах...

Прочитал я эти невыносимые письма два раза подряд и сделался от них просто вроде пьяного. Слюсарев из второго взвода подходит, спрашивает: что, мол, жена пишет новенького? А я письма скорее в карман прячу и только рукой ему махаю: отойди, дескать, милый человек, не тревожь ты меня. Он спрашивает: «Все ли благополучно дома? По лицу,— говорит,— вижу, что у тебя несчастье». А что я ему скажу? Придумал и говорю: бабушка, мол, у меня померла, ну, он и успокоился, отошел.

Вечером сел я, пишу жене. Поклоны деткам и всем родным передал, об своей службе написал, все чин чином, а потом пишу: не называй меня, пожалуйста, разными неподобными кличками, есть у меня свое крещеное имя, может, лет тридцать пять назад и был я «цыпой», а сейчас вполне в петуха оформился, и вес мой — восемьдесят два килограмма — вовсе для «цыпы» неподходящий. А еще прошу: брось ты про эту любовь писать и не расстраивай мое здоровье, пиши больше про то, как дела идут в МТС, и кто из друзей остался дома, и как работает новый директор.

И вот получаю перед самым отступлением ответ. Беру письмо, руки дрожат, распечатал — и так меня жаром и охватило!

Пишет: «Здравствуй, мой любимый котик!»,— а дальше опять на четырех тетрадочных страницах про любовь; про МТС ни слова, а в одном месте зовет меня не Иваном, а каким-то Эдуардом. Ну, думаю, дошла баба до точки! Видно, из книжек списывает про эту проклятую любовь, иначе откуда же она выкопала какого-то Эдуарда и почему в письмах столько разных запятых? Сроду об этих запятых она и понятия не имела, а тут наставила их столько, что не перечтешь, у любого конопатого человека на морде конопин меньше, чем запятых у ней в одном письме. А прозвища? Сначала — «цыпа», потом — «ко-

тик», чего же дальше ждать, думаю? В пятом письме, может, она Трезором меня назовет или еще каким-нибудь кобелиным прозвищем. Да что я, в цирке родился, что ли? Из дому захватил я учебник про трактор «ЧТЗ» — с собой ношу на случай, если когда захочется почитать,— так вот хотел было списать из этого учебника страницы две и послать ей, чтобы вышло невестке в отместку, а потом раздумал. Как раз в обиду примет. Но что-то надо с ней делать, чтобы отвадить от этих глупостей... Что ты мне посоветуешь, Микола?

Звягинцев посмотрел на товарища и огорченно крякнул. Николай, запрокинувшись на спину, крепко спал. Под черными, опущенными книзу усами его белели неровные зубы, а в приподнятых уголках рта так и остались морщинки — тени не успевшей сбежать с губ улыбки.

* * *

Николай вскоре проснулся. Легкий ветер шевелил листья яблони. По траве скользили причудливо меняющиеся светлые блики. Где-то неподалеку ворковала горлинка, и, заглушая ее, работал с перебоями, с выхлопами мотор трактора. В переулке послышались голоса, смех, потом кто-то прокричал молодым, звучным тенорком:

— Я говорил тебе, что свеча барахлит! Шведский ключ у тебя? Неси его сюда, миленький! Неси, рыбий глаз!

В саду пахло вянущей травой, дымом и пригорелой кашей. Около полевой кухни, широко расставив кривые ноги, стоял приятель Николая бронебойщик Петр Лопахин. Он курил и лениво переругивался с поваром Лисиченко.

— Опять каши наварил, гнедой мерин?

— Опять. А ты не ругайся.

— Вот где у меня сидит твоя каша, понятно?

— А мне наплевать, где она у тебя сидит.

— Ты не повар, а так, черт знает что. Ника-

кой выдумки не имеешь, никакой хорошей идеи у тебя в голове нет. У тебя голова, как пустой котел, один звон в ней. Неужели ты не мог в этом хуторе овцу или чушку выпросить так, чтобы хозяин не видал? Щей бы хороших сварил, второе сготовил..

— Отчаливай, отчаливай, слыхали мы таких!

— Три недели, кроме пшенной каши, ничего от тебя не получаем, так делают порядочные повара? Сапожник ты, а не повар!

— А тебе что, антрекота захотелось? Или, может, свиную отбивную?

— Из тебя бы отбивную сделать! Больно уж материал подходящий, разъелся, как интендант второго ранга!

— Ты поосторожней, Петька, а то ведь у меня кипяток под рукой.. В медсанбат-то ходил?

— Ходил.

— Ну и что?

— А ничего.

— Чего же ты ходил?

Лопахин притворно зевнул, помолчал. Улыбающийся Лисиченко, подбоченясь, смотрел на него, ждал ответа.

— Так просто ходил, знакомых искал,— равнодушно сказал Лопахин.

— А там одна была славненькая... Не клюнуло?

— Я и не старался, чтобы клюнуло.

— Ну, ты это брось! Я видел, как ты сапоги травой начищал и медаль свою тряпочкой надраивал. Не помогла, стало быть, и медаль? Да и как она тебе поможет? Будь у тебя, допустим, орден, тогда другое дело, а то, подумаешь, невидаль — медаль за отвагу! Там, браток, не с такими орденами попадаются.

— Дурак,— беззлобно сказал Лопахин.— Говорю тебе, что и в мыслях ничего не держал, а так просто прошелся по хутору. После твоих харчей не очень-то разгуляешься. Последнее время я до того отощал, что даже жену во сне перестал видеть.

— А что же тебе снится, герой?

— Постные сны вижу, всякая дрянь снится, вроде твоей каши.

«Охота им языками трепать»,— подумал Николай и приподнялся, расправляя затекшие руки.

Лопахин подошел к нему, шутовски раскланиваясь.

— Как изволили почивать, почтенный мистер Стрельцов?

— Пойди с поваром поговори, у меня голова болит,— хмуро сказал Николай.

Лопахин сощурил светлые разбойничьи глаза и понимающе покачал головой.

— Все ясно: подавленное настроение в результате нашего отступления, жара и головная боль? Пойдем, Коля, искупаемся до обеда, а то ведь скоро трогаться. Наши ребята из речки не вылазят. Я и то ополоснул разок грешное тело.

С Лопахиным Николай подружился недавно. В бою за совхоз «Светлый путь» окопы их были рядом. Лопахин прибыл в полк только накануне, с последним пополнением, и Николай видел его в деле впервые. Два танка зажгли бронебойщики, подпустив их на полтораста — сто метров, но, когда второй номер расчета был убит, Лопахин задержался с выстрелом, и третий танк, ведя с ходу огонь, перевалил через окоп бронебойщиков и на полной скорости устремился к огневым позициям батареи. Николай, стоя на коленях, набивал дрожащими руками диск автомата. Он видел, как из-под гусениц танка хлынула в окоп Лопахина желтая, глинистая земля, и подумал, что бронебойщики погибли, но спустя несколько секунд из полузаваленного окопа, из облака желтой, не успевшей осесть пыли высунулся длинный ствол ружья, повернутый в сторону прорвавшегося танка, хлопнул выстрел — и по темной броне остановившегося вдруг танка ящерицей скользнуло пламя, а потом повалил густой, черный дым. И почти тотчас же Лопахин окликнул Николая:

— Эй ты, брюнет с усами! Живой?

Николай приподнял голову и увидел багровое, злое, измазанное глиной лицо Лопахина.

— Что же ты не стреляешь, в гроб твою душу?! Не видишь, вон они лезут! — заорал Лопахин, зверски выкатив светлые глаза, указывая на немцев, ползком пробиравшихся вдоль межи.

Первой короткой очередью Николай срезал белые головки ромашки, росшей на гребне межи, а когда взял пониже, то сквозь яростную дробь своего автомата с наслаждением услышал резкий, два раза повторившийся вскрик.

После боя вечером в землянку вошел Лопахин. Он внимательно оглядел красноармейцев, спросил:

— А где у вас тут, ребята, брюнет с усами, красивый такой, похожий на английского министра Антона Идена?

Николай повернулся лицом к свету, и Лопахин, увидев его, деловито сказал:

— Нашел я тебя все-таки! Давай, землячок, выйдем, покурим на свежем воздухе.

Они присели около землянки, закурили.

— А ловко ты последний танк подбил,— сказал Николай, рассматривая в сумерках загорелое, кирпично-красное лицо бронебойщика.— Я думал, что вас обоих завалило землей, смотрю, высовывается ружье...

И тогда Лопахин насмешливо прервал его.

— Вот-вот, этого я и ждал... Моей работой ты восхищаешься, а почему сам не стрелял, когда по моему окопу танк топтался? Почему не стрелял по автоматчикам до тех пор, пока я тебя не выругал? Мне твои восхищения нужны, как мертвому горчишник, понятно? Мне дело нужно, а не восхищения!

Николай, улыбаясь, ответил, что заминка произошла у него в тот момент потому, что он опорожнил все диски. Лопахин, прищурившись, покосился недоверчиво, сказал:

— В бой собрался, а потом оказалось, что к бою-то ты и не подготовлен? В наших отношениях с тобой одного только не хватает: ты бы,

как наши союзнички, совесть в карман положивши, мне только патрончики подбрасывал да похваливал меня, а я бы за тебя воевал... Так, что ли? На красоту были бы отношения!..

Видя, что Николай хмурится, Лопахин протянул куцую, сильную руку, добродушно сказал:

— А ты не обижайся. На правду разве можно обижаться? Раз уж нужда нас сосватала — воевать вместе будем. Давай познакомимся,— мы с тобой, кажется, земляки. Ты Ростовской области? Ну вот, а я из города Шахты. Будем друзьями.

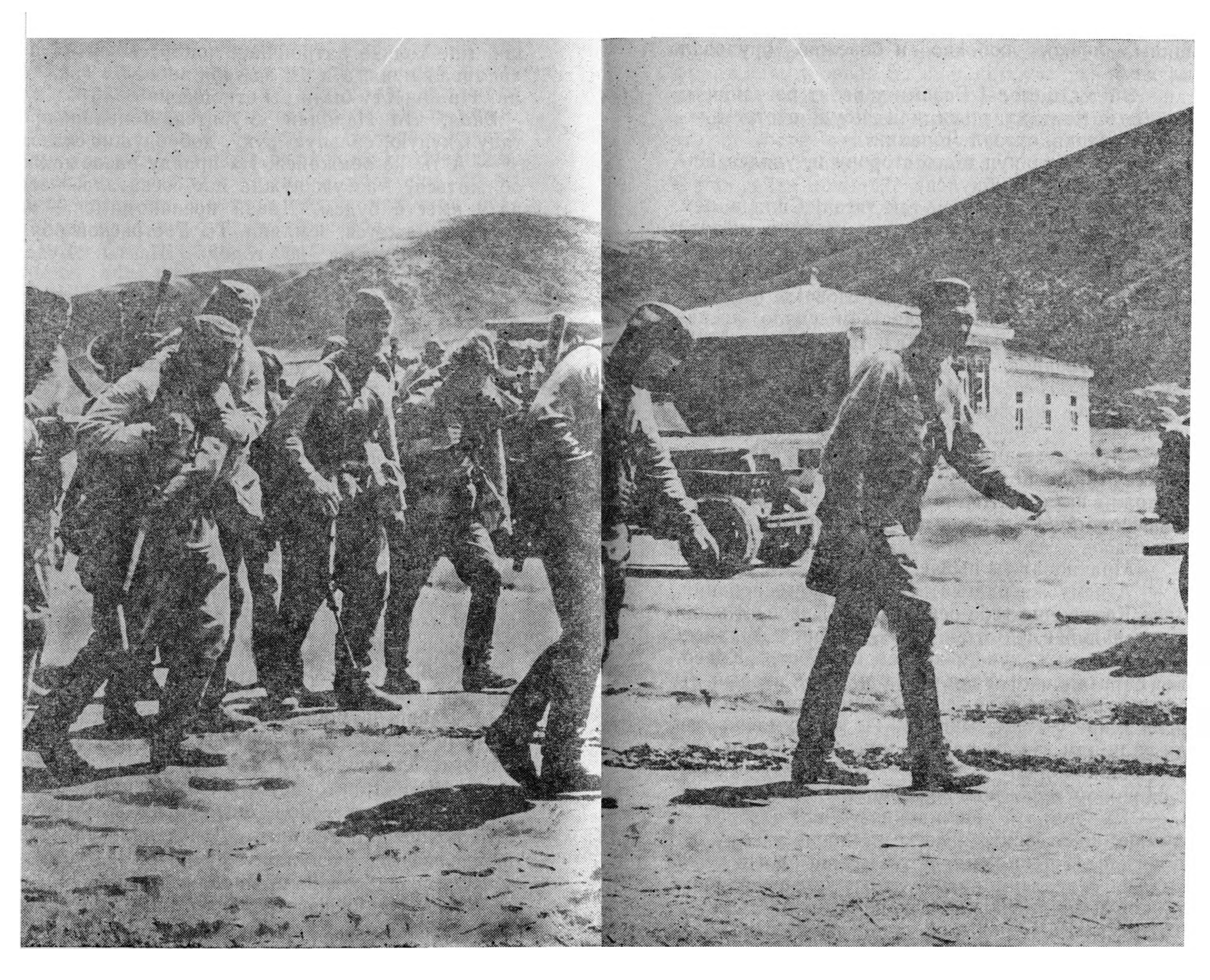
С того дня они и на самом деле подружились простой и крепкой солдатской дружбой. Насмешливый, злой на язык, бабник и весельчак, Лопахин словно бы дополнял всегда сдержанного, молчаливого Николая, и, глядя на них, старшина Поприщенко — медлительный пожилой украинец — не раз говорил:

— Если бы Петра Лопахина и Николая Стрельцова превратить в тесто, а потом хорошенько перемесить то тесто и слепить из него человека, может, и получился бы из двоих один настоящий человек, а может, и нет, кто ж его знает, что из этого месива вышло бы?

У речки певуче звенели пилы саперов, слышался плеск воды и довольный гогот купающихся красноармейцев. Лопахин и Николай шли рядом по примятой траве, молчали. Потом Лопахин предложил:

— Давай за мост пойдем, там глубже будет.

Он первый шагнул через поваленный плетень, кивком головы указал на стоявший на дороге тягач. Двое трактористов в замасленных комбинезонах возились около мотора, им помогал голый до пояса Звягинцев. Широченная спина его и бугроватые, мускулистые руки были густо измазаны отработанным маслом, черная полоса наискось тянулась через все лицо. Он предусмотрительно снял гимнастерку и, довольный представившимся случаем побыть возле ма-



**Кадр из кинофильма «Они сражались за Родину»**

шины, ловко, любовно и бережно орудовал ключом.

— Эй ты, щеголь! Возьми у ребят песчанки и пойдем с нами купаться, как-нибудь ототрем тебя,— проходя, сказал Лопахин.

Звягинцев глянул в его сторону и, увидев Николая, широко улыбнулся:

— Вот, Микола, тягач так тягач! Сила в нем невыносимая. Видал, какую он игрушку возит? Подержался я за него — и вроде как дома, в своей МТС, побыл... Этот мотор смело три сцепа комбайнов попрет, даю честное слово!

Таким бесхитростным счастьем сияло лоснящееся потное лицо Звягинцева, что Николай невольно позавидовал ему в душе.

* * *

Желтые кувшинки плавали в стоячей воде. Пахло тиной и речной сыростью. Раздевшись, Николай выстирал гимнастерку и портянки, сел на песок, обнял руками колени. Лопахин прилег рядом.

— Мрачноват ты нынче, Николай...

— А чему же радоваться? Не вижу оснований.

— Какие еще тебе основания? Живой? Живой. Ну и радуйся. Смотри, денек-то какой выдался! Солнце, речка, кувшинки вон плавают... Красота, да и только! Удивляюсь я тебе: старый ты солдат, почти год воюешь, а всяких переживаний у тебя, как у допризывника. Ты что думаешь: если дали нам духу,— так это уже все? Конец света? Войне конец?

Николай досадливо поморщился, сказал:

— При чем тут конец войне? Вовсе я этого не думаю, но относиться легкомысленно к тому, что произошло, я не могу. А ты именно так и относишься и делаешь вид, будто ничего особенного не случилось. Для меня ясно, что произошла катастрофа. Размеров этой катастрофы мы с тобой не знаем, но кое о чем можно догадываться. Идем мы пятый день, скоро уже Дон, а потом Сталин-

град... Разбили наш полк вдребезги. А что с остальными? С армией? Ясное дело, что фронт наш прорван на широком участке. Немцы висят на хвосте, только вчера оторвались от них и все топаем и когда упремся, неизвестно. Ведь это же тоска — вот так идти и не знать ничего! А какими глазами провожают нас жители? С ума сойти можно!

Николай скрипнул зубами и отвернулся. С минуту он молчал, справляясь с охватившим его волнением, потом заговорил уже спокойнее и тише:

— Ото всего этого душа с телом расстается, а ты проповедуешь — живой, мол, ну и радуйся, солнце, кувшинки плавают... Иди ты к черту со своими кувшинками, мне на них смотреть-то тошно! Ты вроде такого дешевого бодрячка из плохой пьески, ты даже ухитрился вон в медсанбат сходить...

Лопахин с хрустом потянулся, сказал:

— Жалко, что ты со мной не пошел. Там, Коля, есть одна такая докторша третьего ранга, что посмотришь на нее — и хоть сразу в бой, чтобы немедленно тебя ранили. Не докторша, а восклицательный знак, ей-богу!

— Слушай, иди ты к черту!

— Нет, серьезно! При таких достоинствах женщина, при такой красоте, что просто ужас! Не докторша, а шестиствольный миномет, даже опаснее для нашего брата солдата, не говоря уже про командиров.

Николай молча, угрюмо смотрел на отражение белого облачка в воде, и тогда Лопахин сдержанно и зло заговорил:

— А я не вижу оснований, чтобы мне по собачьему обычаю хвост между ног зажимать, понятно тебе? Бьют нас? Значит, поделом бьют. Воюйте лучше, сукины сыны! Цепляйтесь за каждую кочку на своей земле, учитесь врага бить так, чтобы заикал он смертной икотой. А если не умеете,— не обижайтесь, что вам морду в кровь бьют и что жители на вас неласково смотрят. Чего ради они бу-

дут нас с хлебом-солью встречать? Говори спасибо, что хоть в глаза не плюют, и то хорошо. Вот ты, не бодрячок, объясни мне: почему немец сядет в какой-нибудь деревушке, и деревушка-то с чирей величиной, а выковыриваешь его оттуда с великим трудом, а мы иной раз города почти без боя сдаем, мелкой рысью уходим? Брать-то их нам же придется или дядя за нас возьмет? А происходит это потому, что воевать мы с тобой, мистер, как следует, еще не научились и злости настоящей в нас маловато. А вот когда научимся да когда в бой будем идти так, чтобы от ярости пена на губах кипела,— тогда и повернется немец задом на восток, понятно? Я например, уже дошел до такого градуса злости, что плюнь на меня — шипеть слюна будет, потому и бодрый я, потому и хвост держу трубой, что злой ужасно! А ты и хвост поджал и слезой облился: «Ах, полк наш разбили! Ах, армию разбили! Ах, прорвались немцы!» Прах его возьми, этого проклятого немца! Прорваться он прорвался, но кто его отсюда выводить будет, когда мы соберемся с силами и ударим? Если уж сейчас отступаем и бьем,— то при наступлении вдесятеро больнее бить будем! Худо ли, хорошо ли, но мы отступаем, а им отступать не придется: не на чем будет! Как только повернутся задом на восток,— ноги сучьим детям повыдергиваем из того места, откуда они растут, чтобы больше по нашей земле не ходили. Я так думаю, а тебе вот что скажу: при мне ты, пожалуйста, не плачь, все равно слез твоих утирать не буду, у меня руки за войну стали жесткие,— не ровен час, еще поцарапаю тебя...

— Я в утешениях не нуждаюсь, дурень, ты красноречия не трать понапрасну, а лучше скажи, когда же, по-твоему, мы научимся воевать? Когда в Сибири будем? — сказал Николай.

— В Си-би-ри? — протяжно переспросил Лопахин, часто моргая светлыми глазами.— Нет, дорогой мистер, в эту школу далеко нам ходить учиться. Вот тут научимся, вот в этих самых степях, понятно? А Сибирь давай временно вычеркнем из

географии. Вчера мне Сашка — мой второй номер — говорит: «Дойдем до Урала, а там в горах мы с немцем скоро управимся». А я ему говорю: «Если ты, земляная жаба, еще раз мне про Урал скажешь,— бронебойного патрона не пожалею, сыму сейчас свой мушкет и прямой наводкой глупую твою башку так и собью с плеч!» Он назад: говорит, пошутил. Отвечаю ему, что и я, мол, пошутил, разве по таким дуракам бронебойными патронами стреляют, да еще из хорошего противотанкового ружья! Ну, на том приятный разговор и покончили.

Лопахин ползком передвинулся поближе к воде и долго тер влажным зернистым песком огрубелые подошвы ног, потом повернулся лицом к Николаю.

— Вспомнились мне, Коля, слова покойного политрука Рузаева; эти слова будто бы один известный генерал сказал: «Если бы каждый красноармеец убил одного немца,— война давно бы кончилась». Значит, мало мы их, гадов, бьем, так, что ли?

Николаю наскучил разговор, и он желчно ответил:

— Арифметика довольно примитивная... Если бы каждый наш генерал выиграл по одному сражению,— война закончилась бы, пожалуй, еще скорее.

Лопахин перестал тереть ноги и раскатисто засмеялся:

— Как же генералы без нас могут сражения выигрывать, чудак? А потом попробуй выиграть сражение с такими бойцами, как мой Сашка. Он еще до Дона не дошел, а на Урал уже оглядывается. Генерал без войска или с плохим войском, по-моему, то же самое, что жених без мужского отростка, а мы без генерала что свадьба без жениха. Есть, конечно, и генералы, похожие на Сашку. Какого-нибудь беднягу немцы как начали клевать от самой границы, да так до сих пор и клюют. Ну, он и уморился, духом упал и уже думает не о том, как бы немца побить, а о том,

как бы его самого еще лишний раз не побили. Но таких мало, и не они будут погоду делать. А у нас повелось так: чуть где неустойка на фронте вышла,— шепотом генералов ругают: и такие они, и сякие, и воевать-то не умеют, и все лихо через них идет. А если разобраться по справедливости,— то не всегда они виноваты, да и ругать бы их надо помягче, потому что генералы — самые несчастные люди на войне. Ну, что ты уставился на меня, как баран на новые ворота? Именно так и есть, как я говорю. Раньше, бывало, по глупости, я сам завидовал генеральскому званию. «Эх, думаю, до чего же чистая жизнь! Ходит нарядный, фазан фазаном, окопов ему не рыть, на животе по грязи не ползать...» А потом, когда поразмыслил, сразу разочаровался.

Был я тогда еще стрелком, а не бронебойщиком, и вот как-то подымают роту в атаку. Что-то замешкался я: по совести говоря, огонь был очень сильный, и не хотелось от земли отрываться, а командир взвода подбегает, наганом грозит и орет: «Вставай!» — и матом меня, понятно? Сходили мы в атаку, после этого я и думаю: «Ну, хорошо, я рядовой и получил за свою неисправность один матюжок; я отвечаю только за одного себя, а командир дивизии отвечает за тысячи людей; в случае неисправности с его стороны, сколько же он получает матюков? А командующий армией?» Начал подсчитывать, и даже страшно мне стало от этой арифметики. Нет, думаю, извиняюсь! Предпочитаю быть рядовым!

Представь себе, Николай, такую картину. Ночи напролет просиживает генерал со своим начальником штаба, готовит наступление, не ест, не спит, все об одном думает; под глазами у него мешки от тяжелых рызмышлений, голова раскалывается от разных предположений; все ему надо предусмотреть, все предугадать... И вот двигает он полки в наступление, а наступление-то и проваливается с треском. Почему? Да мало ли почему! Он, допустим, понадеялся на Петьку Лопахи-

на, как на родного отца, а Петька сдрейфил и побежал, а за ним и Колька Стрельцов, а за Стрельцовым и другие такие же хлюсты. Вот тебе и кончен бал! Те, которые оказались убитыми, те, конечно, к генералу претензий не имеют, а те, которые благополучно отдышались после бегства, ругают генерала на чем свет стоит! Ругают потому, что искренне думают, будто один генерал во всем виноват, а они вовсе тут ни при чем. Каждый, конечно, согласно уставу, про себя ругает, но генералу от этого разве легче? Сидит он в своей землянке, держится за голову руками, а вокруг него невидимые матюки — тысячу матюков! — как бабочки вокруг лампы порхают. А тут еще звонок по телефону. Вызывают бедного генерала по прямому проводу из Москвы. Волосы подымают на голове генерала красивую его фуражку, берет он трубку, а сам думает: «Несчастная моя мамаша! И зачем ты меня генералом родила!» По телефону его матерно не ругают: в Москве вежливые люди живут,— но говорят ему, допустим, так: «Что же это вы, Иван Иванович, так бездарно воюете? Деньги государственные на вас тратили, учили, обували-одевали, поили-кормили, а вы такие номера откалываете? Грудному ребенку простительно пеленки пачкать, на то он и есть грудной ребенок, а вы не ребенок и испачкали не пеленки, а наступательную операцию. Как же это так у вас получилось? Потрудитесь объяснить». Тихий такой голос говорит, вежливый, а у генерала от этого тихого голоса одышка начинается и пот по спине бежит в три ручья...

Нет, Коля, ты как хочешь, а я генералом не желаю быть! При всем моем честолюбии не желаю, и баста! И если бы меня вдруг вызвали в Кремль и сказали: «Берите, товарищ Лопахин, на себя командование энской дивизией»,— то я побледнел бы с ног до головы и категорически отказался. А если бы там стали настаивать, то вышел бы я, поднялся на Кремлевскую стену и оттуда в Москву-реку — вот так!

Лопахин сложил над головой руки, высоко подпрыгнул и камнем упал в зеленую плотную воду. На середине речки он вынырнул, отфыркиваясь, дико вращая глазами, закричал:

— Скорее окунайся, а то утоплю!

Николай с разбегу бросился в воду, ахнул, мгновенно ощутив обжегший все тело колючий холодок, и, далеко выбрасывая длинные руки, поплыл к Лопахину.

— Ты у меня сейчас поныряешь, дьявол кривоногий! — улыбаясь, говорил он и уже готовился схватить Лопахина, но тот скорчил испуганно-глупую рожу, снова нырнул, мелькнув на секунду смуглыми, блестящими ягодицами, бешено работая под водой ногами...

Купание освежило Николая. Исчезли головная боль и усталость, и посветлевшими глазами он уже по-иному взглянул на окружающий его мир, залитый потоками ослепительного полуденного солнца.

— До чего же здорово! Будто заново на свет народился! — сказал он Лопахину.

— После такого купания по стопке бы выпить да хороших домашних щей навернуть, а этот проклятый богом Лисиченко опять наварил каши, чтоб он подавился ею! — раздраженно сказал Лопахин и неуклюже запрыгал на одной ноге, стараясь другой попасть в растопыренную штанину.— Пойдем, разве попросим щей у какой-нибудь старушки?

— Неудобно.

— Думаешь, не даст?

— Может, и даст, но как-то неудобно.

— Э, черт, а если б кухни не было? Какое там неудобство, пойдем! В своей родной области да чтобы щей не выпросить?

— Мы ведь не странники и не нищие,— нерешительно сказал Николай.

Двое знакомых красноармейцев вышли из-за плотины. Один из них — высокий и худой, с младенчески бесцветными глазами и крохотным ртом — нес в руке мокрый узелок, другой шел

следом, на ходу застегивая ворот гимнастерки. Синее, как у утопленника, лицо его зябко подергивалось, почерневшие губы дрожали. Красноармейцы поравнялись с Лопахиным, и тот, хищно вытянув шею, спросил:

— Что у вас в узле, орлы?

— Раки,— ответил неохотно высокий.

— Ого! Где вы их достали?

— Возле плотины. Родники там, что ли? До того холодная вода, прямо страсть!

— Как же это мы с тобой не додумались! — с досадой воскликнул Лопахин, глянув на Николая, и деловито спросил у высокого: — Сколько наловили?

— Около сотни, но они некрупные.

— Все равно для двоих это много,— решительно сказал Лопахин.— Принимайте в компанию и нас. Берусь достать ведро и соли, варить будем вместе, идет?

— Сами наловите.

— Да что ты, милый! Когда же мы теперь успеем? Угощай, не ломайся, а как только Берлин займем, пивом угощу, честное бронебойное слово!

Высокий сложил трубочкой мелкие губы, насмешливо свистнул:

— Вот это утешил!

Лопахину, видно, очень хотелось попробовать вареных раков. Подумав немного, он сказал:

— Впрочем, могу и сейчас, по рюмке водки на нос у меня найдется, сохранял ее на случай ранения, но сейчас по поводу раков придется выпить.

— Пошли! — коротко сказал высокий, обрадованно блеснув глазами.

* * *

Лопахин уверенно, будто у себя дома, распахнул покосившуюся калитку, вошел во двор, непролазно заросший бурьяном и крапивой. Полуразрушенные дворовые постройки, повисшая на одной петле ставня, прогнившие ступеньки

крыльца — все говорило о том, что в доме нет мужских рук. «Хозяин, наверно, на фронте, значит, дело будет»,— решил Лопахин.

Около сарая небольшая, сердитая на вид старуха в поношенной синей юбке и грязной кофтенке складывала кизяки. Заслышав скрип калитки, она с трудом распрямила спину и, приложив к глазам сморщенную, коричневую ладонь, молча смотрела на незнакомого красноармейца. Лопахин подошел, почтительно поздоровался, спросил:

— А что, мамаша, не добудем ли мы у вас ведро и немного соли? Раков наловили, хотим сварить.

Старуха нахмурилась и грубым, почти мужским по силе голосом сказала:

— Соли вам? Мне вам кизяка вот этого поганого жалко дать, не то что соли!

Лопахин ошалело поморгал глазами, спросил:

— За что же такая немилость к нам?

— А ты не знаешь, за что? — сурово спросила старуха.— Бесстыжие твои глаза! Куда идете? За Дон поспешаете? А воевать кто за вас будет? Может, нам, старухам, прикажете ружья брать да оборонять вас от немца? Третьи сутки через хутор войско идет, нагляделись на вас вволюшку! А народ на кого бросаете? Ни стыда у вас, ни совести, у проклятых, нету! Когда это бывало, чтобы супротивник до наших мест доходил? Сроду не было, сколько на свете живу, а не помню! По утрам уже слышно, как на заходней стороне пушки ревут. Соли вам захотелось? Чтоб вас на том свете солили, да не пересаливали! Не дам! Ступай отсюдова!

Багровый от стыда, смущения и злости, Лопахин выслушал гневные слова старухи, растерянно сказал:

— Ну, и люта же ты, мамаша!

— А не стоишь ты того, чтобы к тебе доброй быть. Уж не за то ли мне тебя жаловать, что ты исхитрился раков наловить? Медаль-то на тебя навесили небось не за раков?

— Ты мою медаль не трогай, мамаша, она тебя не касается.

Старуха, наклонившаяся было над рассыпанными кизяками, снова выпрямилась, и глубоко запавшие черные глаза ее вспыхнули молодо и зло.

— Меня, соколик ты мой, все касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы вы сейчас бегали, как оглашенные, и оставляли бы все на разор да на поруху. Понимаешь ты это своей пустой головой?

Лопахин закряхтел и сморщился, как от зубной боли.

— Это все мне без тебя известно, мамаша! Но ты напрасно так рассуждаешь...

— А как умею, так и рассуждаю... Годами ты не вышел меня учить.

— Наверно, в армии у тебя никого нет, а то бы ты иначе рассуждала.

— Это у меня-то нет? Пойди спытай у соседей, что они тебе скажут. У меня три сына и зять на фронте, а четвертого, младшего сынка, убили в Севастополе-городе, понял? Сторонний ты, чужой человек, потому я с тобой по-мирному и разговариваю, а заявись сейчас сыны, я бы их и на баз не пустила. Благословила бы палкой через лоб да сказала своим материнским словом: «Взялись воевать — так воюйте, окаянные, как следует, не таскайте за собой супротивника через всю державу, не срамите перед людями свою старуху-мать!»

Лопахин вытер платочком пот со лба, сказал:

— Ну, что ж... извините, мамаша, дело наше спешное, пойду в другом дворе добуду ведро.— Он попрощался и пошел по пробитой в бурьяне тропинке, с досадой думая: «Черт меня дернул сюда зайти! Поговорил, как меду напился...»

— Эй, служивый, погоди-ка!

Лопахин оглянулся. Старуха шла следом за ним. Молча прошла она к дому, медленно поднялась по скрипучим ступенькам и спустя не-

много вынесла ведро и соль в деревянной выщербленной миске.

— Посуду тогда принеси,— все так же строго сказала она.

Всегда находчивый и развязный, Лопахин невнятно пробормотал:

— Что ж, мы люди не гордые. Можно взять... Спасибо, мамаша! — И почему-то вдруг низко поклонился.

А небольшая старушка, усталая, согнутая трудом и годами, прошла мимо с такой суровой величавостью, что Лопахину показалось, будто она и ростом чуть ли не вдвое выше его и что глянула она на него как бы сверху вниз, презрительно и сожалеюще...

Николай и двое красноармейцев ждали Лопахина возле двора. Они сидели в холодке под плетнем, курили. В свернутой узлом мокрой рубахе со скрежетом шевелились раки. Высокий красноармеец посмотрел на солнце, сказал:

— Что-то долго не идет наш бронебойщик, видно, никак ведра не выпросит. Не успеем раков сварить.

— Успеем,— сказал другой.— Капитан Сумсков с батальонным комиссаром только недавно пошли к зенитчикам на телефон.

А потом они заговорили о том, что хлеба хороши в этом году повсеместно, что лобогрейками трудно будет косить такую густую, полегшую пшеницу, что женщинам очень тяжело будет в этом году управляться с уборкой и что, пожалуй, немцу много достанется добра, если отступление не приостановится. Они толковали о хозяйственных делах вдумчиво, обстоятельно, как это обычно делают крестьяне, сидя в праздничный день на завалинке, и, прислушиваясь к их грубым голосам, Николай думал: «Только вчера эти люди участвовали в бою, а сегодня уже войны для них словно не существует. Немного отдохнули, искупались и вот уже говорят об урожае, Звягинцев возится с трактором, Лопахин хлопочет, как бы сварить раков... Все для них

ясно, все просто. Об отступлении, как и о смерти, почти не говорят. Война — это вроде подъема на крутую гору: победа там, на вершине, вот и идут, не рассуждая по-пустому о неизбежных трудностях пути, не мудрствуя лукаво. Собственные переживания у них на заднем плане, главное — добраться до вершины, добраться во что бы то ни стало! Скользят, обрываются, падают, но снова подымаются и идут. Какой дьявол сможет остановить их? Ногти оборвут, кровью будут истекать, а подъем все равно возьмут. Хоть на четвереньках, но долезут!»

Николаю было тепло и радостно думать о людях, с которыми связала его боевая дружба, но вскоре размышления его прервал Лопахин. Потный и красный, он подошел торопливыми шагами, отдуваясь, сказал:

— Ну и жарища! Прямо адово пекло.— И испытующе взглянул на Николая, пытаясь по лицу определить, слышал он его разговор со старухой или нет.

— Насчет щей не интересовался? — спросил Николай.

— Какие там щи, если раков будем варить! — раздраженно ответил Лопахин.

— Что же ты так долго там пробыл?

Лопахин воровато повел глазами, ответил:

— Старушка такая веселая, разговорчивая попалась, никак не уйдешь. Все ее интересует: кто мы, да откуда, да куда идем... Прямо прелесть, а не старушка! Сыны у нее тоже в армии, ну, она увидела военного и, конечно, растаяла, угощать затеялась, сметаны предлагала...

— И ты отказался? — испуганно спросил Николай.

Лопахин смерил его уничтожающим взглядом.

— Что, я странник или нищий какой, чтобы у бедной старушки последнюю сметану сожрать?

— Напрасно отказался,— грустно сказал Николай.— За сметану можно бы было заплатить ей.

Глядя в сторону, Лопахин сказал:

— Я не знал, что ты такой любитель сметаны, а то бы, конечно, взял. Ну да это дело поправимое: обратно ведро я не понесу, хватит с меня этого удовольствия, ты отнесешь и, кстати, сметаны попросишь. Старушка такая добрая, что и копейки с тебя не возьмет. Ты не вздумай предлагать ей денег, а то обидишь ее. Она мне так и сказала: «До того мне жалко отступающих бойцов, до того жалко, что готова все им отдать!» Ну, пошли, а то раки наши подохнут к черту!

* * *

Николай доел кашу, вымыл и насухо вытер котелок. Лопахин не стал есть свою порцию. Он на корточках сидел около костра, мешал палкой в ведре и с вожделением смотрел на раков, вытянувших неподвижные клешни из окутанной паром воды. Приторный запах разваренного укропа стоял возле костра, и Лопахин время от времени шевелил ноздрями, вкусно причмокивал и говорил:

— Ну, просто совсем как на Садовой в Ростове, в гостинице «Интурист»: укропчиком пахнет, свежими раками... Полдюжины пива бы сюда, ледяного, «трехгорного», и больше ничего не надо. Ой, держите меня, товарищи! От этих ароматов я в огонь могу свалиться!

По переулку, с интервалами, шли на восток автомашины медсанбата. Последней прошла открытая американская машина, новенькая, тускло отсвечивающая зеленой краской, но уже во многих местах продырявленная пулями, с изуродованным осколками капотом. Прислонясь к бортам, в ней сидели легкораненые; оттеняя их смуглые, загорелые лица, ослепительно белели свежие бинты.

— Хоть бы брезентом накрыли машину,—с досадой сказал Николай.— Испекутся ведь на такой жаре!

Высокий красноармеец проводил взглядом раненых, вздохнул.

— За каким лешим понесло их днем? Степь голая, налетят самолеты, ну и наделают лапши. Соображения у людей нету!

— А может, они по необходимости тронулись,— возразил другой.— Вон что-то и саперы перестали молотками стучать, одни мы прохлаждаемся.

Николай прислушался: в хуторе стояла нехорошая тишина, слышался только удаляющийся шум автомашин да беззаботное воркование горлинки, но вскоре с запада донесся знакомый, стонущий гул артиллерийской стрельбы.

— Улыбнулись нам раки! — с отчаянием в голосе воскликнул Лопахин и замысловато, по-шахтерски выругался.

Раков, действительно, не удалось доварить. Через несколько минут полк подняли по тревоге. Капитан Сумсков бегло оглядел построившихся красноармейцев и, подергивая контуженной головой, слегка волнуясь, сказал:

— Товарищи! Получен приказ: занять оборону на высоте, находящейся за хутором, на скрещении дорог. Оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна? За последние дни мы много потеряли, но сохранили знамя полка, надо сохранить и честь полка. Держаться будем до последнего!

Полк выступил из хутора. Звягинцев толкнул Николая локтем и, оживленно блестя глазами, сказал:

— В бой идти со знаменем — это подходяще, а уж отступать с ним — просто не дай бог! За эти дни так оно мне глаза намозолило, что я не раз думал: «Хоть бы его Петьке Лисиченко отдали, чтобы он его с собой при кухне тайком вез, а то идем к противнику спиной и со знаменем». Даже как-то конфузно перед людьми было и за себя и за это знамя...— Он помолчал немного и спросил: — Как предполагаешь, устоим?

Николай пожал плечами, уклончиво ответил:

— Надо бы устоять.— А про себя подумал: «Вот она, романтика войны! От полка остались

рожки да ножки, сохранили только знамя, несколько пулеметов и противотанковых ружей, да кухню, а теперь вот идем становиться заслоном... Ни артиллерии, ни минометов, ни связи. Интересно, от кого капитан получил приказ? От старшего по званию соседа? А где он, этот сосед? Хотя бы зенитчики поддержали нас в случае танковой атаки, но они, наверное, потянутся к Дону, прикрывать переправу. А чего, собственно, они околачивались в этом хуторе? Все устремились к Дону, по степям бродят какие-то дикие части, обстановки не знает, должно быть, и сам командующий фронтом, и нет сильной руки, чтобы привести все это в порядок... И вот всегда такая чертовщина творится при отступлении!»

На минуту Николай тревожно подумал: «А что, если окружат, навалятся большим количеством танков, а подкрепления при этой неразберихе не успеют подойти?»

Но настолько сильна была горечь перенесенного поражения, что даже эта пагубная мысль не вызвала в его сознании страха, и, мысленно махнув на все рукой, он с веселой злостью подумал: «Э, да черт с ним! Скорее к развязке! Если успеем окопаться,— на фрицах сегодня отыграемся! Ох, и отыграемся же! Лишь бы патронов хватило. Народ остался в полку бывалый, большинство — коммунисты, и капитан хорош,— продержимся!»

Около ветряной мельницы босой белоголовый мальчик, лет семи, пас гусей, он подбежал поближе к дороге, остановился, чуть шевеля румяными губами, восхищенно рассматривая проходивших мимо красноармейцев. Николай пристально посмотрел на него и в изумлении широко раскрыл глаза: до чего же похож! Такие же, как у старшего сынишки, широко поставленные голубые глаза, такие же льняные волосы... Неуловимое сходство было и в чертах лица и во всей небольшой, плотно сбитой фигурке. Где-то он теперь, его маленький, бесконечно родной Нико-

ленька Стрельцов? Захотелось еще раз взглянуть на мальчика, так разительно похожего на сына, но Николай сдержался: перед боем не нужны ему воспоминания, от которых размякает сердце. Он вспомнит и подумает о своих осиротелых детишках и об их плохой матери, не в последнюю минуту, как принято писать в романах, а после того, как отбросят немцев от безымянной высоты. А сейчас автоматчику Николаю Стрельцову надо плотнее сжать губы и постараться думать о чем-либо постороннем, так будет лучше...

Некоторое время взволнованный Николай шел, глядя прямо перед собой невидящими глазами и тщетно стараясь восстановить в памяти, сколько осталось у него в вещевом мешке патронов, но потом все же не выдержал искушения, оглянулся: мальчик, пропустив колонну, все еще стоял у дороги, смотрел красноармейцам вслед и робко, прощально помахивал поднятой над головой загорелой ручонкой. И снова, так же, как и утром, неожиданно и больно сжалось у Николая сердце, а к горлу подкатил трепещущий горячий клубок.

* * *

Высушенная солнцем целинная земля на высоте была тверда, как камень. Лопатка с трудом вонзалась в нее на несколько сантиметров, откалывая мелкие, крошащиеся куски, оставляя на месте среза глянцевито-блестящий след.

Бойцы окапывались с лихорадочной поспешностью. Недавно пролетел немецкий разведчик Он сделал круг над высотой, не снижаясь, дал две короткие пулеметные очереди и ушел на восток.

«Теперь вскорости жди гостей»,— заговорили красноармейцы.

Николай вырыл обчин глубиною в колено, выпрямился, чтобы перевести дух. Неподалеку окапывался Звягинцев. Гимнастерка на спине его стала влажной и темной, по лицу бисером катился пот.

— Это не земля, а увечье для народа! — сказал он, бурно дыша, вытирая рукавом багровое лицо.— Ее порохом рвать надо, а не лопаткой ковырять. Спасибо хоть немец не нажимает, а то, под огнем лежа, в такую землю не сразу зароешься.

Николай прислушивался к стихавшему вдали орудийному гулу, а потом, отдохнув немного, снова взялся за лопатку.

В глаза и ноздри лезла едкая пыль, тяжко колотилось сердце, и трудно было дышать. Он вырыл окоп глубиною почти в пояс, когда почувствовал вдруг, что без передышки уже не в состоянии выбросить со дна ямы отрытую землю, и, с остервенением сплюнув хрустевший на зубах песок, присел на край окопа.

— Ну как, доходная работенка? — спросил Звягинцев.

— Вполне.

— Вот, Микола, война так война! Сколько этой землицы лопаткой перепашешь, прямо страсть! Считай так, что на фронте я один взрыл ее не меньше, чем колесный трактор за сезон. Ни в какие трудодни нашу работу не уложишь!

— А ну, кончай разговоры! — строго крикнул лейтенант Голощеков, и Звягинцев с не присущей ему ловкостью нырнул в окоп.

Часам к трем пополудни окопы были отрыты в полный рост. Николай нарвал охапку сизой мелкорослой полыни, тщательно замаскировал свою ячейку, в выдолбленную в передней стенке нишу сложил диски и гранаты, в ногах поставил развязанный вещевой мешок, где рядом с немудрым солдатским имуществом россыпью лежали патроны, и только тогда внимательно осмотрелся по сторонам.

Западный склон высоты полого спускался к балке, заросшей редким молодым дубняком. Кое-где по склону зеленели кусты дикого терна и боярышника. Два глубоких оврага, начинаясь с обеих сторон высоты, соединялись с балкой, и

Николай успокоенно подумал, что с флангов танки не пройдут.

Жара еще не спала. Солнце по-прежнему нещадно калило землю. Горький запах вянущей полыни будил неосознанную грусть. Устало привалившись спиной к стене окопа, Николай смотрел на бурую, выжженную степь, густо покрытую холмиками старых сурчиных нор, на скользнувшего над верхушками ковыля такого же белесого, как ковыль, степного луня. В просветах между стебельками полыни виднелась непроглядно густая синева неба, а на дальней возвышенности в дымке неясно намечались контуры перелесков, отсюда казавшихся голубыми и словно бы парящими над землей.

Николая томила жажда, но он отпил из фляги только один глоток, зная по опыту, как дорога во время боя каждая капля воды. Он посмотрел на часы. Было без четверти четыре. В томительном ожидании прошло еще с полчаса. Николай жадно докуривал вторую папиросу, когда послышался далекий гул моторов. Он рос, ширился и звучал все отчетливее и грознее, этот перекатывающийся, низко повисший над землею гром. По проселку, прихотливо извивавшемуся вдоль балки, длинным серым шлейфом потянулась пыль. Шли танки. Николай насчитал их четырнадцать. Они скрылись в балке, рассредоточиваясь, занимая исходное положение перед атакой. Гул моторов не затихал. Теперь по проселку быстро двигались автомашины с пехотой. Последним прополз и скрылся за откосом балки приземистый бронированный бензозаправщик.

И вот наступили те предшествующие бою короткие и исполненные огромного внутреннего напряжения минуты, когда учащенно и глухо бьются сердца и каждый боец, как бы много ни было вокруг него товарищей, на миг чувствует ледяной холодок одиночества и острую, сосущую сердце тоску. Николаю было знакомо и это чувство и источники, порождающие его; когда однажды он заговорил об этом с Лопахиным, тот

с несвойственной ему серьезностью сказал: «Воюем-то мы вместе, а умирать будем порознь, и смерть у каждого из нас своя, собственная, вроде вещевого мешка с инициалами, написанными чернильным карандашом... А потом, Коля, свидание со смертью — это штука серьезная. Состоится оно, это свидание, или нет, а все равно сердце бьется, как у влюбленного, и даже при свидетелях ты чувствуешь себя так, будто вас только двое на белом свете: ты и она... Каждый человек живой, чего же ты хочешь?»

Николай знал, что как только начнется бой, на смену этому чувству придут другие: короткие, вспыхивающие, может быть, не всегда подвластные разуму... Прерывисто вздохнув, он стал пристально всматриваться в тонкую зеленую полоску, отделявшую балку от склона высоты. Там, за этой полоской, все еще глухо и ровно гудели моторы. У Николая от напряжения заслезились глаза, а все его большое, теперь уже не в полной мере принадлежащее ему тело стало делать десятки мелких, ненужных движений: зачем-то руки ощупали лежавшие в нише диски, как будто эти тяжелые и теплые от солнца диски могли куда-то исчезнуть, потом он поправил складки гимнастерки и все так же, не отрываясь взглядом от балки, немного подвинул автомат, а когда с бруствера посыпались сухие комочки глины, носком сапога нащупал и растоптал их, раздвинул веточки полыни, хотя обзор и без того был достаточно хорош, пошевелил плечами... Это были непроизвольные движения, и Николай не замечал их. Поглощенный наблюдением, он пристально, не отрываясь, смотрел на запад и не ответил на тихий оклик Звягинцева.

В балке взревели моторы, показались танки. Следом за ними, не пригибаясь, во весь рост шла пехота.

«До чего же обнаглели проклятые! Идут, как на параде... Ну, мы вам сейчас устроим встречу! Жаль только, что артиллерии нет, а то приняли бы ваш парад по всем правилам»,— думал Нико-

лай, с тяжелой, захватывающей дыхание ненавистью глядя на уменьшенные расстоянием фигурки врагов.

Танки шли на малой скорости, не отрываясь от пехоты, осторожно минуя бугорки сурчиных нор, прощупывая пулеметными очередями подозрительные места. Николай видел, как, словно от ветра, колыхнулся росший метрах в двухстах впереди куст боярышника и, срезанные пулями, с него посыпались листья и ветки.

Танки повели с ходу и пушечный огонь. Снаряды ложились, не долетая высоты, по большей части около кустов, а потом черные фонтаны взрывов стали перемещаться, придвигаясь к окопам, и Николай прижался к стенке грудью, готовый в любую секунду стремительно пригнуться.

Когда танки прошли большую половину расстояния и, достигнув кустов, увеличили скорость, Николай услышал протяжные слова команды. Почти одновременно открыли огонь расчеты противотанковых ружей и пулеметчики, в бубнящую дробь автоматов вплелись по-особому сухие и трескучие винтовочные выстрелы.

Некоторое время отстававшая от танков немецкая пехота, неся потери, все еще продвигалась вперед, потом залегла, прижатая к земле огнем.

Выстрелы бронебойщиков участились. Первый танк остановился, не дойдя до группы терновых кустов, второй вспыхнул, повернул было обратно и стал, протянув к небу дегтярно-черный, чуть колеблющийся дымный факел. На флангах загорелись еще два танка. Бойцы усилили огонь, стреляя по пытавшейся подняться пехоте, по щелям, по выскакивавшим из люков горевших машин танкистам.

Пятый танк успел подойти к линии обороны метров на сто двадцать, воспользовавшись тем, что прикрывавшее центр противотанковое ружье бронебойщика Борзых умолкло. Но навстречу танку уже полз ефрейтор Кочетыгов. Прижимаясь к земле, маленький, юркий Кочетыгов быстро

скользил между бурыми холмиками сурчиных нор, и только полоска слегка колеблющегося ковыля еле приметно указывала его движение.

Николай видел, как, стремительно привстав, Кочетыгов взмахнул отведенной в сторону рукой и тотчас же упал, а навстречу грохочущей гусеницами стальной громадине, описывая тяжелую дугу, полетела противотанковая граната.

С левой стороны танка поднялся прорезанный косым, бледным пламенем широкий столб земли, словно неведомая огромная птица взмахнула вдруг черным крылом, и танк, судорожно содрогнувшись, повернулся на одной гусенице и застыл на месте, подставив под огонь отмеченный крестом борт.

Умолкшее за несколько минут до этого ружье бронебойщика Борзых снова заговорило, расстреливая в упор подбитую, беспомощно завалившуюся на бок машину. После первого же выстрела из щелей танка показался дымок. Пулемет на танке залился длинной, захлебывающейся очередью и смолк. Танкисты не захотели или не смогли уже покинуть машину, спустя несколько минут там стали рваться боеприпасы, и освобожденный дым хлынул из пробоин и безмолвной башни густыми, пенистыми клубами.

Придавленная пулеметным огнем, пехота противника несколько раз пыталась подняться и снова залегала. Наконец она поднялась, короткими перебежками пошла на сближение, но в это время танки круто развернулись, двинулись назад, оставив на склоне шесть догорающих и подбитых машин.

Откуда-то, словно из-под земли, Николай услышал глухой, ликующий голос Звягинцева:

— Микола! Умыли мы их, б...! Они с ходу хотели взять, нахрапом, а мы их умыли! Здорово мы их умыли! Пускай опять идут, мы их опять умоем!

Николай зарядил порожние диски, попил немного противно теплой воды из фляги, посмотрел на часы. Ему казалось, что бой длился не-

сколько минут, а на самом деле с начала атаки прошло больше получаса, заметно склонилось на запад солнце, и лучи его уже стали утрачивать недавнюю злую жгучесть.

Еще раз глотнув воды, Николай с сожалением отнял от пересохших губ фляжку, осторожно выглянул из окопа. В ноздри его ударил тяжелый запах горелого железа и бензина, смешанный с горьким, золистым духом жженой травы. Около ближайшего танка выгорала трава, по верхушкам ковыля метались мелкие, почти невидимые в дневном свете язычки пламени, на склоне дымились обугленные, темные остовы неподвижных танков, и словно бы больше стало холмиков возле сурчиных нор, только теперь не все они были однообразно бурого цвета, многие из них отсюда, с высоты, казались более плоскими, серо-зелеными, и Николай, всмотревшись, понял, что это трупы убитых немцев, и в душе пожалел, что серо-зеленых холмиков не так-то уж много, как хотелось бы ему...

Из балки застучали пулеметы. Николай спрятал за бруствером голову; отдыхая, привалился потной спиной к стенке окопа, стал смотреть вверх. Только там, в этой холодной, ко всему равнодушной синеве ничто не изменилось: так же высоко и плавно кружил степной подорлик, изредка шевеля освещенными снизу широкими крыльями; белое с лиловым подбоем облачко, похожее на раковину и отливающее нежнейшим перламутром, по-прежнему стояло в зените и словно совсем не двигалось; все так же откуда-то с вышины звучали простые, но безошибочно находящие дорогу к сердцу трели жаворонков; лишь слегка прозрачнее выглядела туманная дымка на дальней возвышенности, и обрамлявшие ее перелески теперь уже не казались невесомыми и как бы парящими над землей, а стали синее и приобрели осязаемую на взгляд, грубоватую плотность...

Николай ждал, что вторая атака немцев начнется, когда танки и автоматчики предпримут

обходное движение, но немцы, видимо, торопились прорваться к скрещению дорог и выйти на лежавший за высотою грейдер: танки и сопровождавшая их пехота, как и в первый раз, с тупым упрямством пошли в лоб по усеянному трупами склону.

И снова, отсеченная от танков огнем, залегла на голом склоне пехота, и снова вырвавшиеся вперед танки на полной скорости устремились к линии обороны. Двум из них на правом фланге на этот раз удалось достигнуть окопов. Оба они были подорваны гранатами, но один успел проутюжить несколько ячеек и, уже горящий, все еще пытался двигаться вперед, бессильно и яростно гремел единственной уцелевшей гусеницей, вращая башней, вел огонь, а по накалившейся броне его уже стремительно скользили иссиня-желтые светлячки, и на бортах шелушилась от жары, сворачивалась в трубки зловеще-темная краска.

Косые солнечные лучи били под каску, было трудно смотреть и держать на прицеле перебегающие и порою закрытые солнцем фигурки. Николай стрелял короткими очередями, экономя патроны, бил только наверняка, но все ж у него очень устали ослепленные солнцем глаза, и когда вторая атака была отбита, он вздохнул и с наслаждением на короткий миг закрыл глаза.

— Опять их умыли...— зазвучал в стороне глухой, на этот раз более сдержанный голос Звягинцева.— Ты живой, Микола? Живой? Ну и хорошо. Хватит ли у нас припасу умывать их до конца, вот в чем беда... Ты их бьешь, а они лезут, как вредная черепашка на хлеб...

Он еще что-то бормотал приглушенно и невнятно, но Николай уже не слушал его: низкий, прерывистый, басовитый гул летевших где-то немецких самолетов приковал к себе все его внимание.

«Только этого и недоставало...» — подумал он, тщетно шаря по небу глазами, проклиная в душе мешавшее смотреть солнце.

Двенадцать «юнкерсов» шли северо-западнее высоты, направляясь, очевидно, к Дону. В первый

момент Николай, определив направление их полета, так и порешил, что самолеты идут бомбить переправу. Он даже облегченно вздохнул, мельком подумав: «Пронесло!» Но почти тотчас же увидел, как четверка самолетов откололась от строя и, развернувшись, пошла прямо на высоту.

Николай опустился в окоп поглубже, изготовился к стрельбе, но успел дать всего лишь единственную очередь навстречу смертельно и косо падавшему на него самолету. К ревущему вою мотора присоединился короткий, нарастающий визг бомбы.

Николай не слышал потрясшего землю, обвального грохота взрыва, не видел тяжко вздыбившейся рядом с ним большой массы земли. Сжатая, тугая волна горячего воздуха смахнула в окоп насыпь переднего бруствера, с силой откинула голову Николая. Он ударился тыльной стороной каски о стенку так, что лопнул под подбородком ремень, и потерял сознание, полузадушенный, оглушенный...

Очнулся Николай, когда самолеты, с двух заходов ссыпав свой груз, давно уже удалились и немецкая пехота, начав третью по счету атаку, приблизилась к линии обороны почти вплотную, готовясь к решающему броску.

Вокруг Николая гремел ожесточенный бой. Из последних сил держались считанные бойцы полка; слабел их огонь: мало оставалось способных к защите людей; уже на левом фланге пошли в ход ручные гранаты; оставшиеся в живых уже готовились встречать немцев последним штыковым ударом. А Николай, полузасыпанный землей, все еще мешковато лежал на дне окопа и, судорожно всхлипывая, втягивал в себя воздух, при каждом выдохе касаясь щекой наваленной в окопе земли... Из носа у него шла кровь, щекочущая и теплая. Она шла, наверное, давно, так как успела наростами засохнуть на усах и склеить губы. Николай провел рукою по лицу, приподнялся. Жестокий приступ рвоты снова уложил его. Потом прошло и это. Николай привстал,

осмотрелся помутневшими глазами и понял всё: немцы были близко.

Слабыми руками долго, мучительно долго вставлял Николай новый диск, долго приподнимался, пытаясь встать на колени. У него кружилась голова, кислый запах извергнутой пищи порождал новые приступы тошноты. Но он преодолел и тошноту, и головокружение, и отвратительную, обезволившую все его тело слабость. И он стал стрелять, глухой и равнодушный ко всему, что творилось вокруг него, властно движимый двумя самыми могучими желаниями: жить и биться до последнего!

Так проходили минуты, измеряемые для него часами. Он не видел, как с юга по той стороне балки на немецкие автомашины обрушились три «КВ», сопровождаемые пехотой мотострелковой бригады, и до его помраченного сознания не сразу дошло, почему немцы, лежавшие цепью в каких-нибудь ста метрах от его окопа, вдруг ослабили огонь, стали поспешно отползать, а потом поднялись и беспорядочно побежали, но не назад, к балке, а на северо-запад, к глубокому оврагу.

Они катились наискось по склону, как серо-зеленые листья, сорванные и гонимые сильным ветром, и многие из них так же, как листья, падали, сливались с травой и больше уже не подымались...

Только когда мимо Николая, прыгая через воронки, пробежали Звягинцев, лейтенант Голощеков и еще несколько бойцов с бледными от злобы и торжествующей радости лицами, он понял, что произошло. В горле у него хрипло заклокотало, и он тоже, как и бежавшие мимо него красноармейцы, что-то закричал, не слыша собственного голоса; он тоже хотел, как бывало прежде, вскочить и бежать рядом с товарищами, но руки его в бесплодных попытках упереться старчески бессильно, жалко заскользили, заметались по шероховатому краю окопа. Выбраться из окопа он не смог... Николай навалил-

ся грудью на разбитый бруствер и застонал, а потом заплакал от ярости досады на собственное бессилие и от счастья, что вот оно — сбылось! — высоту отстояли, и вовремя подошла подмога, и бежит трижды проклятый, ненавистный враг!..

Он не видел, как, настигнув у самого оврага бежавших немцев, начали работать штыками Звягинцев и остальные; не видел, как, далеко отстав от устремившихся вперед красноармейцев, тяжело припадая на раненую ногу, шел сержант Любченко, держа в одной руке неразвернутое знамя, другой прижимая к боку выставленный вперед автомат; не видел и того, как выполз из разбитого снарядом окопа капитан Сумсков... Опираясь на левую руку, капитан полз вниз с высоты, следом за своими бойцами; правая рука его, оторванная осколками у самого предплечья, тяжело и страшно волочилась за ним, поддерживаемая мокрым от крови лоскутом гимнастерки; иногда капитан ложился на левое плечо, а потом опять полз. Ни кровинки не было в его известково-белом лице, но он все же двигался вперед и, запрокидывая голову, кричал ребячески тонким, срывающимся голоском:

— Орелики! Родные мои, вперед!.. Дайте им жизни!

Николай ничего этого не видел и не слышал. На мягком вечернем небе только что зажглась первая, трепетно мерцающая звездочка, а для него уже наступила черная ночь — спасительное и долгое беспамятство.

* * *

Подожженные немецкими авиабомбами, всю ночь горели на корню огромные массивы созревших хлебов. Всю ночь вполнеба стояло багровое, немеркнущее, трепетное зарево, и в этом освещавшем степь жестоком сиянии войны голубой и призрачный свет ущербленного месяца казался чрезмерно мягким и, пожалуй, даже совсем ненужным.

Запах гари вместе с ветром перемещался на восток, неотступно сопровождая отходивших к Дону бойцов, преследуя их, как тягостное воспоминание. И с каждым километром пройденного пути все мрачнее становилось на душе у Звягинцева, словно горький, отравленный воздух пожарища оседал у него не только на легких, но и на сердце...

По дороге к переправе шли последние части прикрытия, тянулись нагруженные домашним скарбом подводы беженцев, по обочинам проселка, лязгая гусеницами, подымая золистую пыль, грохотали танки, и отары колхозных овец, спешно перегоняемых к Дону, завидев танки, в ужасе устремлялись в степь, исчезали в ночи. И долго еще в темноте слышался дробный топот мелких овечьих копыт, и, затихая, долго еще звучали плачущие голоса женщин и подростков-гонщиков, пытавшихся остановить и успокоить ошалевших от страха овец.

В одном месте, обходя остановившуюся на дороге автоколонну, Звягинцев сорвал на краю поля уцелевший от пожара колос, поднес его к глазам. Это был колос пшеницы «мелянопус», граненый и плотный, распираемый изнутри тяжелым зерном. Черные усики его обгорели, рубашка на зерне полопалась под горячим дыханием пламени, и весь он — обезображенный огнем и жалкий — насквозь пропитался острым запахом дыма.

Звягинцев понюхал колос, невнятно прошептал:

— Милый ты мой, до чего же ты прокоптился! Дымом-то от тебя воняет, как от цыгана... Вот что с тобой проклятый немец, окостенелая его душа, сделал!

Он бережно размял колос в ладонях, вышелушил зерно, провеял его, пересыпая из руки в руку, и ссыпал в рот, стараясь не уронить ни одного зернышка, а когда стал жевать, раза три тяжело и прерывисто вздохнул.

За долгие месяцы, проведенные на фронте,

много видел Звягинцев смертей, людского горя, страданий; видел разрушенные и дотла сожженные деревни, взорванные заводы, бесформенные груды кирпича и щебня на месте, где недавно красовались города, видел растоптанные танками и насмерть покалеченные артиллерийским огнем фруктовые сады, но горящий спелый хлеб на огромном степном просторе за все время войны довелось ему в этот день видеть впервые, и душа его затосковала. Долго шел он, глотая невольные вздохи, сухими глазами внимательно глядя в сумеречном свете ночи по сторонам на угольно-черные, сожженные врагом поля, иногда срывая чудом уцелевший где-либо возле обочины дороги колос пшеницы или ячменя, думая о том, как много и понапрасну погибает сейчас народного добра и какую ко всему живому безжалостную войну ведет немец.

Только иногда глаза его отдыхали на не тронутых огнем зеленых разливах проса да на зарослях кукурузы и подсолнуха, а потом снова расстилалась по обеим сторонам дороги выжженная земля, такая темная и страшная в своей молчаливой печали, что временами Звягинцев не мог на нее смотреть.

Тело его смертельно устало и молило об отдыхе, но отягощенный виденным ум продолжал бодрствовать, и Звягинцев, размышляя о войне и чтобы отогнать от себя сон, чуть слышно заговорил:

— Ах, немец ты, немец, паразит ты несчастный! Привык ты, вредный гад, всю жизнь на чужой земле топтаться и нахальничать, а вот как на твою землю перейдем с войной, тогда что? Тут у нас развязно ты себя держишь, очень даже развязно, и мирных баб с мирными детишками сничтожаешь, и вот, изволь видеть, какую махину хлеба спалил, и деревни наши рушишь с легким сердцем... Ну, а что же с тобой будет, когда война на твою фрицевскую землю перехлестнется? Тогда запоешь ты, немец, окостенелая твоя душа, на другой лад! Сейчас ты, в око-

пах сидя, на губных гармошках играешь, а тогда и про гармошку забудешь, подымешь ты тогда морду кверху, будешь глядеть вот на этот ясный месяц и выть дурным собачьим голосом, потому что погибель твоя будет к этому времени у тебя на воротнике висеть, и ты это дело нюхом почуешь! Столько ты нам, немец, беды наделал, столько посиротил детишек и повдовил наших жен, что нам к тебе непременно надо идти расквитываться. И ни один наш боец или командир не скажет тебе тогда милосердного слова, ни одна душа не подымется на твое прощение, уж это точно! И я непременно доживу до того дня, немец, когда по твоей поганой земле с дымом пройдемся, и погляжу я тогда, гад ты ползучий и склизкий, каким рукавом ты будешь слезу у себя вытирать. Должен я этого достигнуть потому, что невыносимо злой я на тебя и охота мне тебя доконать и упокоить на веки вечные в твоем змеином гнезде, а не тут, в какой-нибудь нашей губернии...

Так и шел он, тихо бормоча, обращаясь к неведомому немцу, в этот момент олицетворявшему для него всю немецкую армию и все зло, содеянное этой армией на русской земле, зло, которое во множестве видел Звягинцев за время войны, зло, которое и сейчас светило ему в пути зловещими отсветами пожаров.

Мысли вслух помогали Звягинцеву бороться со сном, и как-то утешнее становилось у него на сердце от сознания, что все равно, рано или поздно, но не уйти врагу от расплаты, как бы ни рвался он сейчас вперед, как бы ни пытался отсрочить свою неминучую гибель.

— Придем к тебе с разором, собачий сын, придем! Любишь в гости ходить — люби и гостей принимать! — чуть погромче сказал взволнованный своими рассуждениями Звягинцев.

И в это время устало топавший сзади Лопахин положил ему руку на плечо, спросил:

— Что это ты, комбайнер, бормочешь, как тетерев на току? Подсчитываешь, сколько хлеба

сгорело? Брось, не мучайся, на эти убытки у тебя в голове цифр не хватит. Тут профессора математики надо приглашать.

Звягинцев умолк, а потом уже другим, тихим и сонным голосом ответил:

— Это я сон от себя разговором прогоняю... А хлеб мне, как крестьянину, конечно, жалко. Боже мой, какой хлеб-то пропал! Сто, а то и сто двадцать пудов с гектара, это, брат, понимать надо. Вырастить такой хлебец — это тебе не угля наковырять.

— Хлеб, он сам растет, а уголь добывать надо, ну, да это не твоего ума дело, лучше объясни мне, почему ты, как сумасшедший, сам с собой разговариваешь? Поговорил бы со мною, а то бормочешь что-то про себя, а я и думаю: в уме он или последний за эту ночь выжил? Ты сам с собой не смей больше разговаривать, я эти глупости строго воспрещаю.

— Ты мне не начальство, чтобы воспрещать, — с досадой сказал Звягинцев.

— Ошибаешься, дружок, именно я теперь и начальство над тобой.

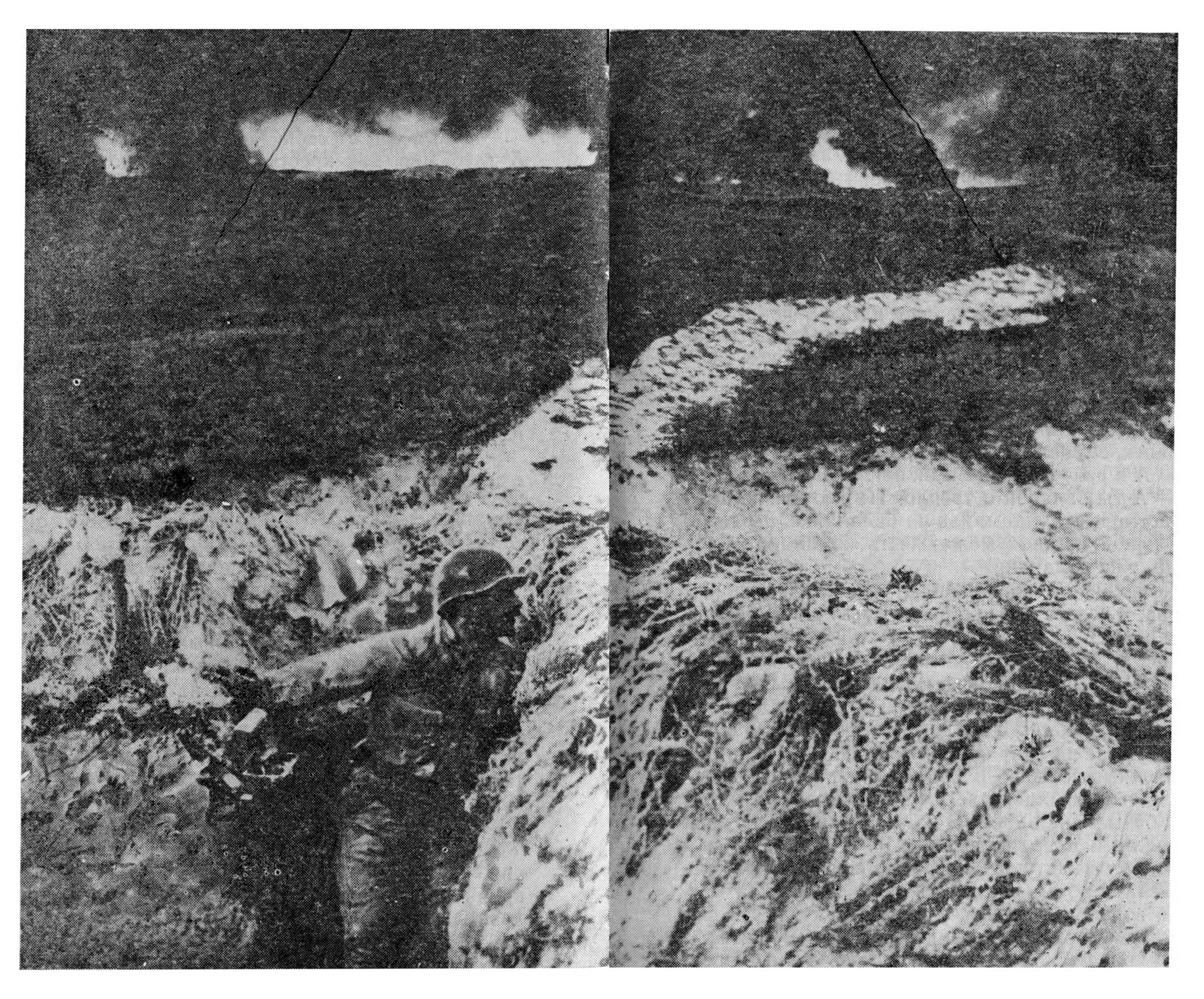
Звягинцев на ходу повернулся лицом к Лопахину, угрюмо спросил:

— Это почему же такое ты оказался в начальниках?

Лопахин постучал обкуренным ногтем по каске Звягинцева, насмешливо сказал:

— Головой надо думать, а не этой железкой! Почему я начальство над тобой, говоришь? А вот почему: при наступлении командир находится впереди, так? При отступлении — сзади, так? Когда высоту за хутором обороняли, мой окоп был метров на двадцать вынесен впереди твоего, а сейчас вот я иду сзади тебя. Теперь и пораскинь своим убогим умом, кто из нас начальник — ты или я? И ты мне должен в настоящее время не грубить, а наоборот, всячески угождать.

— Это, то есть, почему же? — еще более раздраженно спросил Звягинцев, плохо воспринимав-



Кадр из кинофильма «Они сражались за Родину»

ший шутки и не переносивший балагурства Лопахина.

— А потому, еловая твоя голова, что от полка остались одни мелкие осколки, и если еще малость повоевать с таким же усердием, как и раньше, отстоять еще одну-две высотки, — то как раз останется нас в полку трое: ты, да я, да повар Лисиченко. А раз трое нас останется, то окажусь я в должности командира полка, а тебя, дурака, назначу начальником штаба. Так что на всякий случай ты дружбу со мной не теряй.

Звягинцев сердито дернул плечом, поправляя винтовочный ремень, и, не поворачиваясь, сдержанно сказал:

— Таких, как ты, командиров не бывает.

— Почему?

— Командир полка должен быть серьезный человек, самостоятельный на слова...

— А я разве несерьезный, по-твоему?

— А ты балабон и трепло. Ты всю жизнь шутки шутишь и языком, как на балалайке, играешь. Ну какой из тебя может быть командир? Грех один, а не командир!

Лопахин слегка покашлял, и когда заговорил снова, в голосе его явственно зазвучали смешливые нотки:

— Эх, Звягинцев, Звягинцев, простота ты колхозная! Командиры бывают разные по уму и по характеру, бывают среди них и серьезные, и веселые, и умные, и с дурцой, а вот уж начальники штабов все на одну колодку деланные, все они — праведные умницы. В прошедшие времена, доложу я тебе, были такие случаи: командир глуп, как бутылочная пробка, но по характеру человек отважный, напористый, на горло ближнему своему умеет наступить, кое-что в военном деле смыслит, ну, и, конечно, грудь у него, как у старого воробья, колесом, усы в струнку, голос для команды зычный, матерными словами он, браток, владеет в совершенстве, словом, орел-командир, и больше ничего не скажешь. Но в

войне на одной бравой выправке далеко не уедешь, ты согласен с этим?

Звягинцев охотно согласился, и Лопахин продолжал:

— Вот в таком случае и дают командиру умного начальника штаба. Глядишь, куда лучше дела у нашего орла-командира пошли! Высшее начальство им довольно, авторитет этого командира растет, будто на дрожжах, все командира прославляют, все о нем говорят, а начальник штаба — умный такой, собака, но замухрыжистый от скромности, — под командирской славой, как цветок под лопухом, в тени прячется... Никто его до поры до времени не чествует, никто Иван Ивановичем не зовет, а всему делу он голова, командир-то только вроде вывески. Вот такие дела бывали при царе Фараоне.

Довольно улыбаясь, Звягинцев сказал:

— Иногда ты, Петя, толковые штуки говоришь. Конечно, если мне, скажем к примеру, быть бы возле тебя вроде как бы начальником штаба, — то уж я не дал бы тебе всякие глупости вытворять! Все-таки я человек серьезный, а ты, не в обиду тебе будь сказано, с ветерком в голове. Понятно, что при мне у тебя дела пошли бы лучше.

Лопахин огорченно покачал головой, с упреком сказал:

— Вот какой ты, Звягинцев, нехороший человек! Все слова мои повернул в свою пользу...

— Как, то есть, я их повернул? — настороженно спросил Звягинцев.

— Повернул к своей выгоде, — вот и все. Неудобно так делать!

— Постой-ка, ты же сам говорил, что при умном начальнике штаба у командира дела идут лучше, говорил ты так или нет?

С лицемерным смирением Лопахин ответил:

— Говорил, говорил, я от своих слов не отказываюсь. Это факт, что дела идут лучше, когда у глуповатого командира умный начальник штаба, но у нас-то с тобой будет как раз наоборот: из

меня выйдет толковый командир, а ты, хоть и без князька в голове, все же будешь у меня начальником штаба. Теперь тебе, конечно, безумно интересно знать, почему я именно тебя, такого дурака, и вдруг назначу начальником штаба? Сейчас все объясню, не волнуйся. Во-первых, назначу я тебя только тогда, когда в полку из рядового состава останется в целости только один повар, на веки вечные проклятый богом Петька Лисиченко. Его я переведу в стрелки, им буду командовать, а ты будешь разрабатывать всякие мои стратегические замыслы, попутно кашку будешь варить и тянуться передо мной будешь, как сукин сын. Во-вторых, если, кроме Петьки Лисиченко, в составе полка останется еще хоть несколько бойцов, — то не видать тебе должности начштаба, как своих ушей! Тогда самое большее, на что ты можешь рассчитывать, — это должность адъютанта при моей высокой особе. Будешь у меня по совместительству адъютантом и ординарцем. Сапоги будешь мне чистить, за обедом и за водкой на кухню бегать, ну и все такое прочее по хозяйству...

Разочарованно слушавший Звягинцев ожесточенно сплюнул и промолчал. Шагавший рядом с Лопахиным красноармеец тихо засмеялся, и тогда Звягинцев, как видно выведенный из терпения, сказал:

— Балалайка ты, Лопахин! Пустой человек. Не дай бог под твоим командованием служить. От такой службы я бы на другой же день удавился. Ведь ты за день набрешешь столько, что и в неделю не разберешь.

— А ну, поаккуратней выражайся, а не то и в ординарцы не возьму.

— Горе у тебя когда-нибудь было, Лопахин? — помолчав, спросил Звягинцев.

Лопахин протяжно зевнул, сказал:

— Оно у меня и сейчас есть, а что?

— Что-то не видно по тебе.

— А я свое горе на выставку не выставляю.

—А какое же у тебя, к примеру, горе?

— Обыкновенное по нынешним временам: Белоруссию у меня немцы временно оттяпали, Украину, Донбасс, а теперь и город мой небось заняли, а там у меня жена, отец-старик, шахта, на какой я с детства работал... Товарищей многих за войну я потерял навсегда... Понятно тебе?

— Вот видишь, какой ты человек! — воскликнул Звягинцев. — Этакое у тебя горе, а ты все шутки шутишь. И после этого можно считать тебя серьезным человеком? Нет, пустой ты человек, одна внешность в тебе, а больше ничего нету. Удивляюсь я: как это тебя бронебойщиком поставили? Бронебойщик — это дело серьезное, не по твоему характеру, а характер у тебя веселый, ветреный, и, скажем, в духовом оркестре на какой-нибудь трубе играть, в медные тарелки бить или в барабан деревянный колотушкой стукать было бы для тебя самое подходящее дело.

— Звягинцев, опомнись! Скажи, что эти глупости ты спросонок наговорил, иначе влетит тебе от меня, — с притворным гневом прорычал Лопахин.

Но Звягинцев уже окончательно поборол одолевавший его сон и продолжал говорить с увлечением, иногда поворачиваясь лицом к Лопахину, заглядывая в его сонные, но смеющиеся глаза.

— А находишься ты не на своем месте, Петя, потому, что некоторые военные начальники по характеру вроде тебя: со сквозняком в голове. К примеру, почему меня сунули в пехоту, если я комбайнер по специальности и невыносимо люблю и уважаю всякие моторы? Вся статья мне бы в танкистах быть, а я в пехоте землю, как крот, ковыряю. Или же взять тебя: тебе бы только на барабане бить, людей музыкой веселить, а ты, изволь радоваться, бронебойщик, да еще первым номером заправляешь. А то и еще лучше истории бывают. Наша часть, в какую я сначала попал, формировалась на Волге в одном городке, там же стоял казачий кавалерийский запасный полк. И вот прибыло пополнение с Дона и из

Ставропольской бывшей губернии. Казаков и ставропольцев определили к нам в пехоту: в саперы пошли казаки, в телефонисты, черт-те куда только их не совали, а ремесленники из Ростова прибыли мобилизованные — их воткнули в кавалерию, штаны на них надели казачьи с красными лампасами, синие мундиры и так и далее. И вот казаки топорами тюкают, мосты учатся ладить да вздыхают, на лошадей глядя, а ростовские — все они мастеровые люди до войны были: то столяры, то маляры, то разные и подобные тому переплетчики — возле лошадей вертятся, боятся к ним приступать, потому что лошадей в мирное время они, может, только во сне и видели. А лошадей в полк прислали с Сальских калмыцких степей — трехлеток, неуков, совсем, то есть, необъезженных. Понимаешь, что там было? И смех и слезы! Бедные столяры-маляры начнут седлать иную необъезженную лошадь, соберутся вокруг нее несколько человек, а она, проклятая, визжит, бьет передом и задом, кусается, а то упадет наземь и катается по ней, как некоторые непутевые женщины, которые в обмороки падают... Это что, порядок? Один раз я возле железнодорожного склада на посту стоял и видел, как маршевый эскадрон на фронт отправляли. Командир эскадрона командует седловку, а из полтораста бойцов человек сорок вот таких ростовских маляров да столяров по-настоящему седла накинуть лошади на спину не умеют, ей-богу, не брешу! Эскадронный схватился за голову руками и ругается так, что муха не пролетит, а чем эти столяры-маляры виноваты? Вот, братец ты мой, какие дела бывают! А все это потому, что иногда командиры такие попадаются, вроде тебя, с ветродуем в голове.

— Тронул я тебя на беду, — с нарочитым вздохом сказал Лопахин. — Тронул, а ты теперь и несешь околесицу, все в одну кучу собрал, и за здравие и за упокой читаешь, а все это для того, чтобы доказать, что командира из меня

не выйдет. Назло тебе командиром стану, вот уж тогда я из тебя дурь выбью, вытяну тебя в ниточку и сквозь игольное ушко пропущу! Мне Коля Стрельцов, перед тем как в госпиталь его отправили, поручил за тобою присматривать. «Смотри, — говорит, — за этой полудурой, за Звягинцевым, а то не ровен час еще убьют его по глупости». Ну, вот я оберегаю тебя. Дай, думаю, заговорю с ним, отвлеку его от мрачных мыслей. А теперь и сам не рад, что затронул тебя. Теперь я уже думаю, чем бы тебе рот заткнуть, чтобы ты помолчал немного... Сухаря пожевать хочешь?

— Дай один.

— На два, только замолчи, не спорь со мной. Ужасно не люблю, когда подчиненные мне противоречат.

Звягинцев фыркнул, но сухарь все же взял, с хрустом разжевывая его, сонно заговорил:

— Вот Микола Стрельцов был настоящий, серьезный человек, не то что бы, пустозвон. И это ты врешь, чтобы он меня полудурой назвал. Он меня невыносимо уважал, и я его также. Мы с ним всегда и об семейной жизни разговаривали и обо всем вообще. Вот из него бы вышел командир, потому что человек он самостоятельный на слова, шибко грамотный: агрономом до войны работал. Его за серьезность характера даже жена бросила. А ты что есть такое? Шахтер, угольная душа, ты только уголь ковырять и можешь да из длинного своего ружья стреляешь кое-как, с грехом пополам...

Звягинцев долго еще говорил о достоинствах Стрельцова, а потом речь его стала тише, несвязней, и он умолк. Некоторое время он шел, низко опустив голову, спотыкаясь, и вдруг резко качнулся, вышел из рядов и направился в сторону. Лопахин увидел, как ноги Звягинцева на ходу стали медленно подгибаться в коленях, и понял, что Звягинцев уснул и вот-вот упадет. Бегом догнав товарища, Лопахин крепко взял его за локоть, встряхнул.

— Давай задний ход, Аника-воин, нечего походный порядок ломать, — ласково сказал он.

И так неожиданны были и необычны эти теплые нотки в грубом голосе Лопахина, что Звягинцев, очнувшись, внимательно посмотрел на него, хрипло спросил:

— Я что-то вроде задремал, Петя?

— Не задремал, а уснул, как старый мерин в упряжке. Не поддержи я тебя сейчас, ты бы на бровях прошелся. Ведь вот сила у тебя лошадиная, а на сон ты слабый.

— Это верно,— согласился Звягинцев.— Я опять могу уснуть на ногах. Ты, как только увидишь, что я голову опускаю, пожалуйста, стукни меня в спину, да покрепче, а то не услышу.

— Вот уж это я с удовольствием сделаю, стукну на совесть прикладом своей пушки промеж лопаток,— пообещал Лопахин и, обнимая Звягинцева за широкое плечо, протянул кисет.— На, Ваня, сделай папироску, сон от тебя и отвалит. Уж больно вид у тебя, у сонного, жалкий, прямо как у пленного румына, даже еще хуже.

Покорно следуя за Лопахиным, Звягинцев нерешительно подержал кисет в руке, со вздохом сожаления сказал:

— Тут всего на одну цигарку, бери обратно, не стану я тебя обижать. Вот до чего мы табачком обнищали...

Лопахин отвел руку товарища, сурово проговорил:

— Закуривай, не рассуждай! — И, за напускной суровостью тщетно стараясь скрыть стыдливую мужскую нежность, закончил: — Для хорошего товарища не то что последний табак не жалко отдать, иной раз и последней кровинкой пожертвовать не жалко... А ты — товарищ подходящий и солдат ничего себе, от танков не бегаешь, штыком работаешь исправно, воюешь со злостью и до того, что с ног валишься на ходу. А я страсть уважаю таких неравнодушных, какие воюют до упаду: с немецкой подлюгой воевать надо сдельно, подрядился и дуй до победно-

го конца, холоднокровной поденщиной тут не обойдешься. Так что кури, Ваня, на доброе здоровье. А потом, знаешь что? Ты, пожалуйста, за штуки мои не обижайся, может быть, мне с шуткой и жить и воевать легче, тебе же это неизвестно?

* * *

Последняя ли щепотка табаку, полученная от товарища в трудную минуту, ласковые ли нотки дружеского сочувствия, проскользнувшие в голосе Лопахина, а быть может, и острое чувство одиночества, которое испытывал Звягинцев, после того как Николая Стрельцова увезла в медсанбат попутная двуколка, но что-то толкнуло Звягинцева на сближение с Лопахиным.

На заре, когда остатки полка влились в соединение, занявшее оборону на подступах к переправе, Звягинцев уже иначе, чем прежде, посматривал на ладившего запасную позицию Лопахина. Сам он, как всегда, кряхтя и ругая твердый грунт и горькую свою солдатскую жизнь, быстро отрыл окоп, а потом подошел к Лопахину, улыбаясь краешками губ, сказал:

— Давай пособлю, а то предбудущему командиру полка как-то вроде неудобно в земле ковыряться...— И, поплевав на руки, взялся за лопатку.

Лопахин с молчаливой признательностью принял услуги Звягинцева, но через несколько минут уже начальственно покрикивал на него, донимая непристойными шутками, и, похлопывая ладонью по горячей и мокрой от пота спине нового приятеля, говорил:

— Рой глубже, богомолец Иван! Что ты постариковски все больше сверху елозишь. В земляной работе, как и в любви, надо достигать определенной глубины, а ты норовишь сверху копаться. Поверхностный ты человек, через это тебе жена и письма редко шлет, вспомнить тебя, черта рыжего, ничем добрым не может...

Сухой, жилистый Лопахин работал с профес-

сиональной горняцкой сноровистостью и быстротой, почти не отдыхая, не тратя времени на перекурки. На смуглом лице его, с въевшейся в поры синеватой угольной пылью, слезинками блестели капельки пота, тонкие злые губы были плотно сжаты. Он ловко выворачивал лопаткой попадавшиеся в суглинке камни, а когда крупный камень не поддавался его усилиям, сквозь стиснутые зубы цедил такие фигурные, замысловатые ругательства, что даже Звягинцев — большой знаток по этой части — на минуту удивленно выпрямлялся, качал головой и, облизывая пересыхающие губы, укоризненно говорил:

— Господи боже мой, до чего же ты, Петя, сквернословить горазд! Да ты бы как-нибудь пореже ругался и не так уж заковыристо. Ругаешься-то не по-людски, будто по лестнице вверх идешь,— ждешь и не дождешься, когда ты на последнюю ступеньку ступишь...

Лопахин скупо обнажал в улыбке белые зубы и, блестя озорными светлыми глазами, говорил:

— Это, браток, кто кого привык чаще вспоминать. У тебя вон за каждым словом — «господи боже мой», у меня — другая поговорка. А потом ты ведь — деревенщина, на комбайне катался да чистым кислородом дышал, у тебя от физического труда нервы в порядке, с чего бы ты приучился ругаться? А я шахтер, до войны в забое по триста с лишним процентов суточной нормы выгонял. Триста процентов выполнить без ума, на одной грубой силе, не выполнишь,— стало быть, труд мой уже надо считать умственным трудом. Ну, и как у всякого человека умственного труда, интеллигентные нервы мои расшатались, а потому иногда для собственного успокоения и ругнешься со звоном, как полагается. А ты, если твое благородное воспитание не позволяет выслушивать мои облегчительные слова, заткни уши хлопьями; артиллеристы в мирное время, чтобы не оглохнуть от стрельбы, так делали, говорят, помогало.

Приготовив запасную позицию, Лопахин вздумал соединить оба окопа ходом сообщения, но уставший Звягинцев решительно запротестовал:

— Ты что, зимовать тут собираешься? Не буду рыть.

— Зимовать не зимовать, а упереться здесь я должен, пока остальные не переправятся. Видал, сколько техники к переправе ночью шло? То-то и оно. Не могу я все это добро немцам оставить, хозяйская совесть моя не позволяет. Понятно? — с необычайной серьезностью сказал Лопахин.

— Да ты одурел, Петя! Когда же мы канаву в сорок метров отроем? Упирайся без канавы сколько хочешь, и на черта она тебе нужна? При нужде, когда приспичит, переползешь и так, переползешь, как миленький! Ну, что ты мне лопатку в зубы тычешь? Сказал, не буду рыть больше — и не буду. Что я тебе — сапер, что ли? Дураков нет силу зря класть. Хочешь — тяни сам свой ход сообщения, хоть на километр длиной, а я, шалишь, брат, не стану!

— А что же я, меняя позицию, по этой плешине должен ползти? — Лопахин величественным жестом указал на голую землю, едва покрытую чахлой травкой.— Меня первой же очередью, как гвоздь по самую шляпку, в землю вобьют, отбивную котлету из меня сделают. Вот какая людская благодарность бывает: ты его грудью защищаешь от танков, а он лишний раз лопаткой ковырнуть ленится... Ступай к черту, без тебя выроем, только предупреждаю заранее: стану командиром, и представления к ордену тогда не жди от меня, как ты ни прыгай, как ни старайся отличиться, хоть живьем тогда кушай фрицев, а все равно ни шиша не получишь!

— Нашел чем напугать,— устало улыбаясь, сказал Звягинцев, но все же, хотя и с видимой неохотой, взялся за лопатку.

Пока он и второй номер расчета, Александр Копытовский — молодой, неповоротливый парень, с широким, как печной заслон, лицом и

свисавший из-под пилотки курчавой челкой,— очищали лопаты от прилипшей глины, Лопахин вылез из окопа, осмотрелся.

Сизая роса плотно лежала на траве, тяжело пригибая к земле стебельки, оперенные подсохшими листьями. Солнце только что взошло, и там, где за дальними тополями виднелась белесая излучина Дона, низко над водою стлался туман, и прибрежный лес, до подножия окутанный туманом, казалось, омывается вскипающими струями, словно весною, в половодье.

Линия обороны проходила по окраине населенного пункта. Сведенные в роту остатки полка занимали участок неподалеку от длинного, крытого красной черепицей здания с примыкавшим к нему большим разгороженным садом.

Лопахин долго смотрел по сторонам, прикидывая расстояние до гребня находившейся впереди высотки, намечал ориентиры, а потом удовлетворенно сказал:

— До чего же обзорец у меня роскошный! Это не позиция, а прелесть. Отсюда бить буду этих дейчпанцирей так, что только стружки будут лететь с танков, а с танкистов — мясо пополам с паленой шерстью.

— Нынче ты храбрый,— ехидно сказал Сашка Копытовский, выпрямляясь.— Храбрый ты стал и веселый, когда знаешь, что, кроме нашего ружья, тут их еще черт-те сколько, и противотанковые пушки есть, а вчера, когда пошли танки на нас, ты с лица сбледнел...

— Я всегда бледнею, когда они на меня идут,— просто признался Лопахин.

— А заорал-то на меня, ну натурально козлиным голосом: «Патроны готовь!» Как будто я без тебя не знаю, что мне надо делать. Тоже с дамскими нервами оказался...

Лопахин промолчал, прислушался. Откуда-то из-за сада донесся женский возглас и звон стеклянной посуды. Рассеянно блуждавший взгляд Лопахина вдруг ожил и прояснился, шея вытя-

нулась, и сам он слегка наклонился вперед, напрягая слух, весь обратясь во внимание.

— На кого это ты собачью стойку делаешь, аль дичь причуял?— посмеиваясь, спросил Копытовский, но Лопахин не ответил.

Смоченная росой, тускло блестела красная черепичная крыша белого здания. Косые солнечные лучи золотили черепицу и радужно сияли в окнах. В просветах между деревьями Лопахин увидел две женские фигуры, и тотчас у него созрело решение.

— Ты, Сашка, побудь на страже интересов родины, а я на минутку смотаюсь в это черепичное заведение,— подмигнув, сказал он Копытовскому.

Тот удивленно поднял пепельно-серые запыленные брови, спросил:

— За какой нуждой?

— Предчувствие у меня такое, что если в этом доме не школа и не туберкулезный диспансер, то там можно добыть к завтраку что-нибудь привлекательное.

— Там, скорее всего, ветеринарная лечебница,— помолчав, сказал Копытовский.— Ясное дело, что там ветеринарная лечебница, и ты, кроме овечьей коросты или чесотки, ничего там к завтраку не добудешь.

Лопахин презрительно сощурил глаза, спросил:

— Это почему же... лечебница, да еще ветеринарная? Приснилось тебе, ясновидец?

— Потому что на отшибе стоит, а потом там недавно корова какая-то мычала, да так жалобно, — наверное, лечить ее привели.

Несколько поколебленный в своем предположении, Лопахин с минуту разочарованно и меланхолически посвистывал, но в конце концов все же решил идти.

— Схожу на разведку,— бодро проговорил он.— А если старшина или кто другой спросит, где Лопахин,— скажи, что пошел до ветру, ска-

жи, что ужасные схватки у него в животе и, может быть, даже дизентерия.

Сгорбившись, волоча ноги и скорчив страдальческую рожу, Лопахин околесил окоп лейтенанта Голощекова, миновал телефонистов, тянувших с командного пункта провод, шмыгнул в сад. Но едва лишь вишневые деревья скрыли его от посторонних взоров, как он выпрямился, подтянул пояс, легкомысленно сдвинул набекрень каску и, вразвалку ступая кривыми ногами, направился к гостеприимно распахнутой двери здания.

Еще издали он увидел суетившихся возле сарая женщин, ряды отсвечивавших на солнце белых бидонов и пришел к решительному убеждению, что перед ним либо маслозавод, либо молочнотоварная ферма колхоза. Велико же было его огорчение, когда, ловко прыгнув через плетень, он неожиданно обнаружил около сарая осанистого старика, что-то приказывавшего женщинам. Промышляя, Лопахин всегда предпочитал иметь дело с женщинами. Он нерушимо верил в доброту и восковую мягкость женского сердца, несмотря на довольно частые любовные неудачи, верил и в собственную неотразимость... Что касается стариков, то их он попросту недолюбливал, всех без исключения почему-то считал скаредами и всячески избегал обращаться к ним с какими-либо просьбами. Но сейчас миновать старика было просто невозможно: судя по всему, именно он и был здесь старшим.

Скрепя сердце и мысленно пожелав ни в чем не повинному старику скорой и благополучной кончины, Лопахин направился к сараю, но уже не прежней игривой и развязной походкой завзятого покорителя женских сердец, а строгим строевым шагом, предварительно поправив на голове каску и погасив в глазах веселые огоньки.

Бегло взглянув на прямые плечи и несутулую спину старика, Лопахин подумал: «Наверно, фельдфебелем служил, бородатый дьявол! Почтительностью его надо брать, не иначе». Не до-

ходя нескольких шагов, он щелкнул каблуками, поздоровался и откозырял так, словно перед ним стоял по меньшей мере командир дивизии. Расчет оказался безошибочным: на старика это явно произвело впечатление, и он, тоже приложив узловатую ладонь к козырьку выцветшей казачьей фуражки, не менее почтительно ответил гулким басом:

— Здравия желаю!

— Что это у вас тут, папаша, колхозная конюшня? — спросил Лопахин, с наивным видом указывая на коровник.

— Нет, это наша МТФ. Собираемся вот в отступ...

— Поздно вы собрались,— строго сказал Лопахин.— Надо было пораньше об этом думать.

Старик вздохнул, погладил бороду и, глядя куда-то мимо Лопахина, сказал:

— Больно скоро вы, лихие вояки, добежали до нашего хутора... Позавчера радио передавало, будто бои идут возле Россоши, а не успели мы оглянуться,— вы уже возле наших базов и германца небось следом за собой волокете...

Разговор начал принимать явно нежелательное для Лопахина направление, и он искусно направил его по новому руслу, озабоченно спросив:

— Неужто коров еще не переправили за Дон? Коровы, наверно, хорошие у вас, породистые?

— Коровки подходящие в нашем хозяйстве, не коровки, а золото! — с восторгом отозвался старик.— Их-то мы вплавь переправили еще вчера вечером, а вот имущество пока перевозим и перевезем, нет ли — не скажу, потому что на переправе такое столпотворение идет, что не дай и не приведи бог! Немец на мост вторые сутки бомбы кидает, рушит его, когда попадет, а тут военных машин всяких набилось тыщи, возле моста командиры один одного за грудки тягают, где уж нам со своей хурдой переправиться...

— Да, это дело сложное,— подтвердил Лопахин.— Но вы особенно не волнуйтесь, дорогой папаша, наш геройский полк взялся держать оборону, значит, можете быть уверенные, что с ходу немцы на ту сторону Дона не перескочат. Мы им еще на этой стороне кровишки как следует пустим.

— Пропадет наш хутор, все огнем возьмется, если бой тут будет идти,— дрогнувшим голосом сказал старик.

— Да, папаша, хутору вашему, как видно, достанется, но мы будем оборонять его до последней возможности.

— Помоги вам бог,— истово сказал старик и хотел было перекреститься, но, искоса взглянув на Лопахина, на украшенную медалью грудь его, не донес руку до лба и стал степенно гладить седую окладистую бороду.— Стало быть, это ваша часть за садом окопы роет? — помолчав, спросил он.

— Так точно, папаша, наша. Роем, стараемся вовсю, а тут во рту все пересохло... Лопахин дипломатически замолчал, но старик, видимо, не понял намека. Он все гладил бороду, смотрел на доярок, грузивших на повозку бидоны, и вдруг, зверски выкатив глаза, зычно крикнул:

— Глашка, язвить твою душу, почему до сих пор кобылы нету? Вот как зачнут германцы из пушек бить, тогда вы засуетитесь.

Полная, статная доярка, с малиновыми губами и пышной грудью метнула в сторону Лопахина короткий взгляд, что-то шепнула женщинам — и те тихо засмеялись,— а потом уже не спеша отозвалась:

— Скоро приведут, Лука Михалыч, не беспокойся, успеешь до Дона свою старуху домчать...

Лопахин, не отрываясь, зачарованно смотрел на доярку и жмурился, будто от яркого солнца. С заметным усилием он отвел глаза от смуглорумяного женского лица, вздохнул и почему-то вдруг осипшим голосом спросил:

— А что, папаша, хорошо жил колхоз до войны? Упитанность у вашего народа приличная...

— Жил преотлично: и школа, и больница, и клуб, и все прочее было, не говоря уже про харч, всего было в аккурат по ноздри, а теперь все это свое природное приходится покидать. К чему вернемся? К горелым пенькам, это уж как бог свят,— сокрушенно произнес старик.

В другое время Лопахин, может быть, и посочувствовал бы чужому горю, но сейчас у него не было лишнего времени, и он предпринял еще один шаг, чтобы натолкнуть старика на догадку о цели своего прихода.

— Вода у вас в колодезе солоноватая. Роем окопы, пить страшная охота, а вода просто никуда не годная. Как же вы хорошей воды не имеете? — с упреком сказал он.

— Солоноватая? — удивленно переспросил старик.— Да вы в каком же колодезе брали?

Лопахин не пил в этом хуторе воды и, разумеется, не знал, где находится колодец, а потому неопределенно махнул рукой в сторону видневшейся за деревьями школы. Старик удивился еще больше:

— Дивно это мне! В школьном колодезе самая распрекрасная вода в округе, на питье весь хутор там воду берет. С чего же это она могла нынче сгубиться? Вчера оттуда воду приносили, легкая вода, хорошая была, сам пробовал.

Он уставился в землю, размышляя, а Лопахин с досадой крякнул, сказал:

— Нам, к тому же, сырую воду не разрешают пить, папаша, во избежание поносов и других желудочных происшествий.

— Нашу воду можно и сырую пить, — упрямо сказал старик.— Каждый год колодезь чистим, весь хутор пьет, и сроду никто животом не хворал.

Лопахин исчерпал все возможности деликатно надоумить непонятливого старика и, отчаявшись, пошел напролом:

— Молочка пресного нельзя ли у вас добыть или хотя бы масла сливочного?

— А это, сынок, вам надо обратиться к заведующей МТФ. Вот она стоит возле доярок, конопатенькая такая, кругленькая, в серой шальке.

— А вы... кто же вы будете по чину? — растерянно спросил Лопахин.

И старик, разглаживая бороду, с гордостью ответил:

— Я тут конюхом работаю вот уже третий год. Работаю — дай бог всякому: и покос за мной, и присмотр за худобой, и по хозяйству все как есть лажу. Премию нонешний год мне сулили...

Он еще что-то говорил, но Лопахин с досадой шлепнул себя ладонью по каске и, беззвучно шевеля губами, пошел к женщине, покрытой серой шалью

Заведующая оказалась простой и покладистой женщиной. Она внимательно выслушала просьбу Лопахина, сказала:

— Мы на госпиталь раненым отпустили полтораста литров молока и масла, кое-что еще осталось, с собой нам его не везти. Два бидона молока вашим бойцам хватит? Глаша, отпусти товарищу командиру молока два бидона, вчерашнего вечорошника, и, если осталось в леднике сливочное масло,— тоже дай килограмма два-три.

Довольный и весьма польщенный тем, что его приняли за командира, Лопахин с жаром пожал руку доброй заведующей, проворно спустился в ледник. Принимая из рук доярки холодные, отпотевшие на льду бидоны, он восхищенно сказал:

— Не знаю, как вас, Глаша, по отчеству, но прелесть вы, а не женщина! Просто взбитые сливки, да и только! На мой аппетит — вас целиком можно за один присест скушать: намазывать по кусочку на хлеб и жевать даже без соли...

— Уж какая есть, — сурово ответила неприступная доярка.

— Нечего скромничать, определенно хороша Глаша, да не наша, вот в чем вся беда! И с чего это вас так разнесло, неужели с парного молока или с простокваши? — продолжал восхищаться Лопахин.

— Бери бидоны, пойдем. За маслом потом придешь.

— Я с вами на этом леднике согласен всю жизнь просидеть,— убежденно сказал Лопахин.

Воровато оглянувшись на полуоткрытую дверь, он попытался обнять пышнотелую доярку, но та легко отвела руку Лопахина, показала ему большой смуглый кулак и дружелюбно улыбнулась:

— Гляди, парень, от этого скорее, чем ото льда, остынешь. Я строгая вдова и глупостей этих не люблю.

— От такой вдовы согласен нести любой урон, но отступать не намерен, и без этого наотступался до тошноты,— смиренно сказал Лопахин и упрямо потянулся к доярке, к ее смеющимся малиновым губам.

Но в этот момент обитая камышом дверь ледника широко и некстати распахнулась, в просвете возникла темная фигура, и зычный стариковский бас зарокотал:

— Гликерия! Чего ты там запропастилась? Подолом ко льду примерзла, что ли? Иди скорей, и чтобы кобылу привела мне в два счета!

Лопахин отпрянул в сторону, чертыхаясь вполголоса, гремя бидонами, стал подниматься по скользким от сырости ступенькам. Уже на выходе из ледника он подождал следовавшую за ним все еще лукаво улыбавшуюся доярку, спросил:

— За Дон будете отступать или останетесь? Интересуюсь на всякий случай.

— Сейчас будем уходить, солдатик. Может, и ты с нами?

— Пока не по пути,— значительно суше ска-

зал Лопахин, но тотчас хрипловатый голос его снова обрел воркующую, голубиную мягкость: — А если придется,— где мы, Глашенька, встретимся?

Смеясь и отталкивая Лопахина от двери крутым плечом, доярка ответила:

— Вроде бы и не к чему нам встречаться, но уж если так захочешь повидать, что будет невтерпеж,— в лесу на той стороне Дона поищешь. Мы далеко от своего хутора не пойдем.

Вздыхая и кляня в душе непоседливую солдатскую жизнь, нагруженный бидонами, Лопахин побрел к саду. Потянуло его еще разок взглянуть на вдову, такую суровую на вид, но с удивительно ласковыми рыжими искорками в глазах. Он оглянулся и едва не упал, зацепившись ногою за кочку, и сейчам же вослед ему полетел и проник до самого сердца заливистый женский смех...

В окопе Лопахин, не отрываясь, долго пил прямо через край бидона холодную жизнетворящую влагу, а потом, отяжелевший от выпитого молока и по-детски счастливый, поручил Копытовскому распределить молоко среди бойцов роты по котелку на брата и строго наказал не обижать остальных, если останутся излишки. Сам он собрался идти, но Копытовский посоветовал не ходить:

— Старшина будет ругаться, не ходи.

Лопахин мечтательно улыбнулся, сказал:

— Я, может быть, и не пошел бы, но ноги сами меня несут... Там есть одна такая доярка, Глаша, что, если бы не война,— я согласился бы с ней всю жизнь под коровьим брюхом сидеть и за дойки дергать.

Прищурив глаза, закрывая черной ладонью рот, Копытовский спросил прерывающим от смеха голосом:

— За чьи дойки-то?

— Это неважно,— о чем-то задумавшись, рассеянно ответил Лопахин.

Взгляд его скользил по зеленым купам де-

ревьев и надолго останавливался на красной черепичной крыше МТФ.

— Смотри, как бы от старшины тебе нынче не досталось. Он что-то со вчерашнего дня злой, как цепная собака,— предупредил Копытовский.

Лопахин махнул рукой, запальчиво сказал:

— Иди ты со своими советами и вместе со старшиной! Что он мне шагу не дает ступить? Скажи, что Лопахин пошел за маслом, молоком его угости, вот и весь разговор. А если он ко мне попробует привязаться,— я ему отпою панихиду! Я Лисиченкину кашу не могу больше есть, у меня от нее язва желудка начинается. Пусть дают полностью по микояновскому уставу положенный паек, тогда я и ловчить не буду. Что я, психой, чтобы от сливочного масла отказаться, если добрые люди сами его предлагают? Не противнику же его оставлять?

— Ну, если масло дают,— нечего дремать, иди,— торопливо согласился Копытовский.

Минуту спустя Лопахин уже шагал по знакомой тропинке в саду, прислушивался к утренним голосам птиц и с наслаждением вдыхал пресный и нестойкий запах смоченной росой травы.

Несмотря на то, что в течение нескольких суток подряд он почти не спал, недоедал и с боями проделал утомительный марш в двести с лишним километров, у него в это утро было прекрасное настроение. Много ли человеку на войне надо? Отойти чуть подальше обычного от смерти, отдохнуть, выспаться, плотно поесть, получить из дому письмишко, не спеша покурить с приятелем — вот и готова скороспелая солдатская радость. Правда, письма Лопахин в это утро не получил, но зато ночью им выдали долгожданный табак, по банке мясных консервов и вполне достаточное количество боеприпасов; перед рассветом ему удалось малость соснуть, а потом он, посвежевший и бодрый, рыл окопы, уверенно думал о том, что здесь, у Дона, наконец-то закончится это горькое отступление, и ра-

бота на этот раз вовсе не показалась ему такой надоедливо-постылой, как бывало прежде; выбранной позицией он остался очень доволен, но еще больше доволен был тем, что вволю попил молока и повстречался с диковинной по красоте вдовой Глашей. Черт возьми, было бы, конечно, гораздо лучше познакомиться с ней где-нибудь на отдыхе, уж там-то он сумел бы развернуться вовсю и тряхнуть стариной, но и эта короткая встреча доставила ему несколько приятных минут. А за время войны он привык и довольствоваться малым и мириться со всякими утратами...

* * *

Улыбаясь своим мыслям и тихонько насвистывая, Лопахин шел по тропинке, расталкивая ногами отягощенные росою поникшие листья лопухов, и вначале не обратил внимания на еле слышный низкий, осадистый гул, донесшийся откуда-то из-за горы, но вскоре гул стал отчетливее, и Лопахин остановился, прислушиваясь. По звуку он определил, что идут немецкие самолеты, и почти тотчас же услышал протяжный возглас: «Во-о-оз-дух!»

Лопахин круто повернулся, трусцой побежал к окопам. Только на секунду у него мелькнула горестная мысль: «Накрылось мое маслице и Глаша тоже...»,— а потом, как ни чувствительна была эта двойная утрата, он надолго позабыл о ней...

Четырнадцать немецких самолетов, возникнув чуть выше кромки горизонта, стремительно приближались. Лопахин еще не успел добежать до своего окопа, как из школьного сада звонко ударили зенитки. Темно-серые венчики разрывов вспыхнули чуть впереди и ниже первых самолетов. Затем разрывы зенитных снарядов стали умножаться и, перемещаясь в безоблачном небе, поплыли рядом с самолетами, раскалывая их строй, заставляя менять направление.

— Один готов!— в восторге рявкнул Сашка Копытовский.

Лопахин прыгнул в окоп и, когда поднял голову, увидел, как ведущий самолет, нелепо завалившись на крыло, оделся черным дымом и стал косо падать. С буревым свистом и воем, окутанный дымом и пламенем, пронесся он над линией окопов и взорвался на собственных бомбах, ударившись об утрамбованную землю хуторского выгона. Грохот взрыва был так силен, что Лопахин на миг закрыл глаза. А потом повернул к Сашке сияющее лицо, сказал:

— Ну и серьезная же начинка у него... Если бы эти небесные черти, зенитчики, всегда так стреляли!

Еще один самолет, от прямого попадания снаряда разваливаясь в воздухе на куски, упал уже далеко за хутором. Остальные успели прорваться к переправе. Встреченные огнем пулеметов и второй зенитной батареи, расположенной у самой переправы, они беспорядочно сбросили бомбы, потянули прямо на запад, обходя опасную зону.

Не успела улечься поднятая фугасками пыль, как из-за горы появилась вторая волна немецких бомбардировщиков, на этот раз уже числом около тридцати машин. Четыре самолета отделились, повернули к линии обороны.

— На нас идут,— сквозь стиснутые зубы проговорил дрогнувшим голосом Сашка.— Гляди, Лопахин, это пикировщики, сейчас начнут падать... Вот они, пошли!

Слегка побледневший Лопахин, выставив ружье и крепко упираясь ногой в нижний уступ окопа, тщательно целился. Светлые глаза его были так плотно прижмурены, что Сашка, мельком взглянув на него, увидел только крохотные, словно ножом прорезанные щели с глубокими морщинками по краям обтянутых черной кожей глазниц.

— На три корпуса... на три с половиной... на четыре бери вперед!— сквозь режущее уши тугое завывание моторов успел крикнуть растерявшийся Сашка.

Лопахин, как сквозь сон, слышал его возглас и знакомый надтреснутый голос лейтенанта Голощекова, на высокой ноте прокричавшего привычное: «По самолетам против-ни-ка!..» Он успел выстрелить и ощутить плечом и всем телом весомый толчок отдачи, в какую-то крохотную долю секунды успел осознать и то, что промахнулся. Знакомый отвратительный свист бомбы вырос мгновенно, сомкнулся с оглушительным взрывом. По каске, по униженно согнутой спине Лопахина, как крупный град, с силой забарабанили комья вздыбленной и падающей земли, в ноздри вторгнулся и захватил дыхание едкий металлический запах сгоревшей взрывчатки. Бомбы часто рвались вдоль линии окопов, но значительно большее число взрывов гремело позади окопов, в школьном саду. Лопахин, пересилив себя, поднял голову, сквозь мутно-бурую пелену взвихрившейся пыли увидел слева взмывавший в голубое небо самолет, различил даже свастику на хвосте его и разогнулся словно пружина, в бешенстве скрипнув зубами, снова припал к ружью.

— Бей же его, стерву! Бей скорее!..— лихорадочно дрожа, кричал на ухо Сашка.

Нет, на этот раз Лопахин не мог, не имел права промахнуться! Он весь как бы окаменел, только руки его, железной крепости руки забойщика, слившись воедино с ружьем, двигались влево, да прищуренные глаза, налитые кровью и полыхавшие ненавистью, скользили впереди тянувшего ввысь самолета, беря нужное упреждение. И все же он промахнулся и на этот раз... Губы его мелко задрожали, когда он увидел, как самолет, набрав нужную высоту и с ревом развернувшись, снова стал пикировать на окопы.

— Патрон!— клокочущим голосом крикнул он.

«Ю-87» резко снижался, поливая желтые гнезда окопов огнем из всех своих пулеметов. Навстречу ему, яростно захлебываясь, бил ручной пулемет сержанта Никифорова, часто щелкали винтовочные выстрелы, дробно и глухо, слива-

ясь воедино, стучали очереди автоматов. Лопахин выжидал. Он неотрывно наблюдал за самолетом, снижавшимся с низким, тягучим и нарастающим воем, и в то же время слух его невольно фиксировал все разнородные звуки огня: и обвальный грохот фугасок, сыпавшихся в школьном саду возле огневых позиций зенитной батареи, и частые удары зениток, и заливистые пулеметные трели. Ему удалось различить даже несколько выстрелов из противотанковых ружей. Очевидно, не он один охотился с противотанковым ружьем за обнаглевшим пикировщиком.

— Что ты застыл? Что застыл, спрашиваю? Ты не раненый?! — кричал Сашка.

Но Лопахин, не отрывая взгляда от самолета, только коротко и страшно выругался, и Сашка присел на шероховатое, усыпанное комками земли дно окопа, убедившись в том, что Лопахин жив и невредим.

На втором заходе кипящая пулеметная струя, подняв пыльцу, начисто сбрила у переднего бруствера окопа низкий полынок, краем захватила и насыпь бруствера, но Лопахин не пошевельнулся.

— Нагнись! Прошьет он тебя, шалавый!— громко выкрикнул Сашка.

— Врешь, не успеет!— прохрипел Лопахин и, выждав момент, когда самолет только что выровнялся на выходе из пике, нажал спусковой крючок.

Самолет слегка клюнул носом, но сейчас же выправился и пошел на юг, покачиваясь, как подбитая птица, медленно и неуверенно набирая высоту. Около левой плоскости его показался зловещий дымок.

— Ага, долетался, так твою и разэтак! — тихо сказал Лопахин, подымаясь в окопе во весь рост.— Долетался! — еще тише и значимей повторил он, жадно следя за каждым движением подбитого самолета.

Не дотянув до горы, самолет закачался, почти отвесно рухнул вниз. Он ударился о землю с

таким треском, словно где-то рядом о стол разбили печеное яйцо, и только тогда Лопахин с огромным и радостным облегчением вздохнул, вздохнул всей грудью, повернулся лицом к Сашке.

— Вот как надо их бить!— сказал он, раздувая побелевшие ноздри, уже не скрывая своего торжества.

— Ничего не скажешь, ловко ты его долбанул, Петр Федотович! — восторженно проговорил Сашка, чуть ли не впервые за все время совместной службы величая Лопахина по отчеству.

Лопахин трясущимися руками торопливо свернул папироску, усталый и какой-то обмякший, сел на дно окопа, несколько раз подряд жадно затянулся.

— Думал, что уйдет проклятый! — сказал он уже спокойнее, но от волнения все еще замедляя речь.— Завалил бы за бугор, ну а там черт его знает — то ли упал он, то ли добрался до своего логова. А это — дело надежное: стукнулся о землю, и гори на доброе здоровье...

Не докурив папиросы, он поднялся и с минуту удовлетворенно, молча смотрел на чадившие вдали обломки сбитого самолета. Остальные три самолета, бомбившие зенитную батарею, уходили на юг, но над переправой все еще кружили хищно бомбардировщики, немо хлопали зенитки, рвались бомбы и высоко вздымались радужно отсвечивавшие на солнце бледно-зеленые столбы воды. Вскоре налет окончился, и прибежавший связной позвал Лопахина к командиру роты.

Все поле впереди и сзади окопов было, словно язвами, покрыто желтыми, круглыми, различной величины воронками, окаймленными спекшейся землей. Косые просеки, проделанные в саду бомбами и загроможденные поваленными и расщепленными деревьями, обнажали ранее сокрытые ветвями стены и крыши хуторских домов, и все вокруг выглядело теперь необычно: ново, дико и незнакомо. Неподалеку от окопа Звягинцева зияла крупная воронка, у самого

бруствера лежало до половины засыпанное землей, погнутое и отсвечивающее рваными металлическими краями хвостовое оперение небольшой бомбы. Но почти всюду над стрелковыми ячейками уже курился сладкий махорочный дымок, слышались голоса бойцов, а из пулеметного гнезда, оборудованного в старой, полуразрушенной силосной яме, доносился чей-то подрагивавший веселый голос, прерываемый взрывами такого дружного, но приглушенного хохота, что Лопахин, проходя мимо, улыбнулся, подумал: «Вот чертов народ, какой неистребимый! Бомбили так, что за малым вверх ногами их не ставили, а утихло,— они и ржут, как стоялые жеребцы...» И сейчас же сам невольно засмеялся, потому что знакомый голос сержанта Никифорова, высокий, плачущий от смеха, закончил:

— ...гляжу, а он раком стоит, головой мотает и спрашивает у меня: «Федя, меня не убили?..» А глаза у него, ну прямо по кулаку, на лоб вылезли, и пареной репой от него пахнет... Он со страху-то, видно, того...

Кто-то там, в просторном окопе, смеялся устало и тонко, из последних сил, но безостановочно, словно его, связанного, усердно щекотали. Лопахин, все еще улыбаясь, миновал пулеметчиков и, обходя воронки, догоняя связного, сказал:

— Веселый парень этот Никифоров.

— Сейчас кому смех, кому слезы, а кому и вечная память...— мрачно ответил связной, указывая на разрушенную прямым попаданием ячейку и на красноармейца в залитой кровью гимнастерке, который шел вдали, пьяно покачиваясь, безвольно опираясь на руки санитара.

Лейтенант Голощеков встретил Лопахина широкой улыбкой, движением руки пригласил спуститься в окоп. Пользуясь коротким затишьем, он только что наспех позавтракал. Голощеков вытер черным от грязи носовым платком рот, лукаво подмигнул:

— Ты его снизил, Лопахин?

— Будто бы я, товарищ лейтенант.

— Чисто сработано. Это у тебя первый в практике?

— Первый.

— Ну, присаживайся, гостем будешь. Так, говоришь, первый, но надо думать, не последний?— пошутил лейтенант, пряча в нишу котелок с недоеденной порцией каши и доставая оттуда вместительную трофейную флягу.

В окопе лейтенанта пахло не только не успевшей подсохнуть влажной глиной и полынью, но и ременной кожей амуниции, чуть-чуть одеколоном, уксусно-терпким мужским потом и махоркой. Лопахин подумал о том, с какой удивительной быстротой обживают люди окопы, населяя временное жилье своими запахами, совершенно разными и присущими только каждому отдельному человеку. Он некстати вспомнил слова сержанта Никифорова и улыбнулся, но лейтенант истолковал его улыбку по-своему и, наливая в алюминиевый стаканчик водку, сдержанно сказал:

— Это соседи наши, зенитчики, сегодня снабдили горючим, своей у меня давно уже не было... Что же, поздравляю с удачей, бери, выпей.

Лопахин двумя пальцами бережно принял стаканчик, сказал спасибо, но про себя с огорчением подумал, что посуда уж больно не по-русски мелка, и, закрыв глаза, медленно, с чувством выпил теплую, пахнущую керосином водку.

Лейтенант крякнул одновременно с Лопахиным, как бы вместе с ним разделяя удовольствие, но сам пить не стал, убрал фляжку.

— А народец-то стал каков у нас, Лопахин, а? Раньше, бывало, как только самолеты,— все вповалку лежат и землю нюхают, а сейчас уже не то: сейчас ходи над ними на приличной высоте, а то ноги переломаем, а? Так ведь, Лопахин?

— Точно, товарищ лейтенант.

— Подполковник звонил недавно, спрашивал, кто сбил самолет. Народ на тебя указал, да и сам я видел. Наверно, будешь представлен к награде. Ну, ступай, скоро надо ждать наступления,

смотри не подкачай насчет танков. Зайди к Борзых, предупреди от моего имени: бой будет серьезный, стоять надо, как говорится, насмерть. Скажи, что я надеюсь на него, а я сейчас пройдусь на правый фланг. Да, что-то немцы усердствуют с налетами, дорогу к переправе себе расчищают... Жаркий будет денек, так что смотри в оба!

Лопахин возвращался к себе кирпично-красный от счастья и выпитой водки, но, подходя к окопу бронебойщика Борзых, согнал с губ улыбку, посерьезнел.

Борзых завтракал, старательно вычищая хлебной коркой стенки консервной банки.

Лопахин прилег возле окопа, спросил:

— Ну, как, сибирский житель, тебя и бомбы не берут?

— Меня, однако, никакая причина до самой смерти не возьмет,— басовито ответил широкоплечий и ладный сибиряк, не прерывая своего занятия.

— Что ж, угостил бы шанежками, что ли, в гости ведь к тебе пришел.

— Сходи в гости к моей жене в Омск, сегодня воскресенье, она обязательно готовит шанежки, она и угостит.

Лопахин отрицательно и грустно покачал головой.

— Далековато, не пойду, прах с ними, и с шанежками с твоими...

— Да, далеконько, однако,— со вздохом сказал Борзых, и нельзя было понять, к чему относится этот легкий вздох: то ли к тому, что далеко от этой голой донской степи до родного Омска, то ли к тому, что так скоро опустела консервная банка...

Не размахиваясь, Борзых швырнул в бурьян пустую банку, тщательно вытер руки о замасленные штаны, сказал:

— Лучше ты меня, Лопахин, табачком угости.

— А свой-то неужели весь пожег?— удивился Лопахин.

— Зачем «пожег»? Чужой завсегда вкуснее,—

рассудительно сказал Борзых и, свернув корытцем кусок бумаги, протянул руку из окопа.— Сыпь, не скупись. Если бы мне пофартило сбить самолет,— я бы весь табак разугощал друзьям-приятелям...

Когда в молчании глотнули раза по два терпкого махорочного дымка, Лопахин сказал.

— Лейтенант приказал тебе передать, чтобы глядел в оба. Он с умом парень и думает, что танки на нас будут сначала силу пробовать. За этими высотками, какие против нас, им хорошо сосредотачиваться, к тому же там и подход им хороший, скрытный, балочка с бугра наискось идет, видал ты ее?

Борзых молча кивнул головой.

— Лейтенант так и сказал: «Я,— говорит,— на Борзых и на тебя, Лопахин, надеюсь. Стоять будем до последнего».

— Правильно делает, что надеется,— сдержанно сказал Борзых.— Народу нас мало осталось, но ребята все такие, однако, что оторви да брось. Мы-то устоим, вот как соседи?

— Соседи пусть сами о себе беспокоятся,— сказал Лопахин.

И Борзых снова молча кивнул головой.

Лопахин поднялся, пожал широкую, негнущуюся руку товарища, сказал:

— Желаю удачи, Аким!

— Взаимно и тебе.

Миновав две стрелковые ячейки и поравнявшись с третьей, Лопахин, словно перед неожиданным препятствием, вдруг ошалело остановился, протер глаза, сквозь зубы негодующе сказал: «Миленькое дельце! Этого мне еще недоставало на старости лет...» Из окопа, отрытого по-настоящему и с очевидным знанием дела, из-под низко надвинутой каски, не мигая, смотрели на него усталые, но, как всегда, бесстрастные, холодные голубые глаза повара Лисиченко. Полное лицо повара с налитыми, как антоновские яблоки, щеками выглядело необычно моложаво, даже весело, а голубые глаза спокойно и, как

показалось Лопахину, вызывающе и бесстыже щурились.

Подчеркнуто шаркающей походкой Лопахин приблизился к ячейке, присел на корточки и, глядя на повара сверху вниз, сказал шипящим и ничего доброго не предвещающим голосом:

— Здравствуйте.

— Наше вам,— холодно ответил Лисиченко.

— Как ваше здоровье?— любезно осведомился Лопахин, испепеляя повара пронизывающим взглядом, еле сдерживая готовое прорваться наружу бешенство.

— Благодарю вас, топайте дальше, к чертовой матери.

— Я бы тебе ответил по всем правилам военной науки, но не для тебя берегу самые дорогие и редкостные слова,— выпрямляясь, сказал Лопахин.— Ты мне ответь на один-единственный вопрос: какой дурак посадил тебя в эту ямку, и что ты думаешь высидеть в этой ямке, и где кухня, и что мы сегодня будем жрать по твоей милости?

— Никто меня сюда не сажал, приятель. Сам отрыл себе окопчик, сам и разместился тут,— спокойным и скучающим голосом ответил Лисиченко.

Лопахин чуть не задохнулся от охватившего его негодования.

— Разместился? Ах, ты... А кухня?

— А кухню я бросил. А ты тут не ахай, пожалуйста, и не пугай меня понапрасну. Мне возле кухни быть сегодня стало грустно, потому и бросил ее.

— Загрустил, бросил и по своей доброй воле пришел сюда?

— Точно. Что тебя еще интересует, герой?

— Ты что же, думаешь, что без тебя оборону не удержим?— скороговоркой спросил Лопахин, пронизывая Лисиченко все тем же немигающим и ненавидящим взглядом.

Но не так-то просто было запугать или даже смутить бывалого и видавшего всяческие виды

повара. Спокойно глядя на Лопахина снизу вверх, он сказал:

— Вот именно, попал в самую точку, не понадеялся я на тебя, Лопахин, подумал, что дрогнешь в тяжелую минуту, потому и пришел.

— Почему же ты белый колпак не надел? У генеральского повара колпак, видел я, на голове чистый-пречистый... Почему не надел-то?— задыхаясь, спросил Лопахин.

— Ну, так у генеральского, а я для чего же его надел бы?— ожидая подвоха, нерешительно спросил Лисиченко.

Лопахин не выдержал и с наслаждением, со вкусом сказал:

— Надо бы тебе его надеть, чтобы скорее тебя, толстого индюка, тут убили!

Но Лисиченко только рукой махнул и все так же невозмутимо ответил:

— Меня убьют тогда, когда на твоей могиле, Петя, чертополох вырастет, когда тебе земляная жаба титьку даст, не раньше.

Говорить с поваром было бесполезно. Он был неуязвим в своем добродушном украинском спокойствии, словно железобетонный дот, а потому Лопахин, передохнув, тихо и неуверенно сказал:

— Стукнул бы я тебя чем-нибудь тяжелым так, чтобы из тебя все пшено высыпалось, но не хочу на такую пакость силу расходовать. Ты мне раньше скажи — и без всяких твоих штучек,— что мы нынче жрать будем?

— Щи.

— Как?

— Щи со свежей бараниной и с молодой капустой.

Лопахин проигрывал игру: над ним явно издевались, а он не находил таких увесистых слов, чтобы достойно ответить.

Снова присел он на корточки возле окопа, призвал на помощь все свое самообладание, проникновенно заговорил:

— Лисиченко, я сейчас перед боем очень нерв-

ный, и шутки твои мне надоели, говори толком: народ без горячего хочешь оставить? Гляди, ребята этого тебе не простят. Я первый могу хлопнуть по тебе прямой наводкой, и мне наплевать, что из тебя тогда получится и какого цвета будет у тебя после этого лицо. Ведь ты понимаешь, кто ты есть? Ты — бог войны! Не артиллерия — бог войны, это про нее зря так говорят, а ты самый настоящий бог, потому что главное и в наступлении и в обороне — это харч, и всякий род войск без харча — все равно, что ноль без палочки. Чего же ты тут околачиваешься? Иди, милый, отсюда поскорее, пока тебя за ноги не выволокли, иди, маскируйся как следует и, пока все тихо в окрестностях войны, с малым дымом вари кашу. Черт с ней, согласен даже кашу твою есть: без нее хуже, чем с ней. Кто мы есть без горячей пищи? Мы жалкие люди, даю честное слово! Я, например, без хлебова становлюсь несчастней самого последнего итальянца, хуже самого несчастного румына. И прицел у меня становится не тот, и какая-то слабость в ногах и в руках дрожь появляется... Иди, Лисиченко, и будь спокоен, управимся тут и без тебя. Клянусь тебе, что твоя должность такая же почетная, как и моя. Ну, может быть, на какую-нибудь десятую долю только пониже...

Лопахин ждал ответа, а Лисиченко медленно достал из кармана розовый, расшитый немыслимыми цветами кисет, медленно оторвал от газетного листа косую и длинную полоску и еще медленнее стал вертеть «козью ножку». Только начинив цигарку табаком и добыв из трофейной зажигалки огня, он не спеша сказал:

— Напрасно ты меня уговариваешь, герой. С кухней на спине Дон переплыть я не могу — она же меня сразу утопит, переправить ее по мосту тоже невозможно. Подорву я ее гранатой, когда надо будет, а сейчас пока в котле щи наваристые готовятся. Верно говорю. Что ты на меня глаза лупишь? Убери их немножко или придержи руками, а то они у тебя наземь упадут. Ви-

дишь, какое дело: возле моста бомбой овец несколько штук побило, ну я, конечно, одного валушка прирезал, не дал ему плохой смертью от осколка издохнуть, капусты на огороде добыл, воровски добыл, прямо скажу. Ну и поручил двум легкораненым за щами присматривать, заправку сделал и ушел; так что у меня все в порядке. Вот повоюю немножко, поддержу вас, а придет время обедать — уползу в лес, и горячая пища по возможности будет доставлена. Ты доволен мною, герой?

Растроганный Лопахин хотел было обнять повара, но тот, улыбаясь, присел на дно окопа, сказал:

— Ты вместо этих собачьих нежностей одну гранатку мне дай — может, сгодится на дело.

— Дорогой мой тезка! Драгоценный ты человек! Воюй, пожалуйста, теперь сколько влезет, разрешаю! — торжественно сказал Лопахин, отцепляя с ремня ручную гранату и с почтительным поклоном вручая ее повару.

Лопахин, наверное, еще попустословил бы с поваром, но снова послышался приближающийся гул самолетов, и он поспешно направился к своему окопу.

И на этот раз на подходе к цели самолеты разделились: часть их ударила по линии обороны, остальные, прорываясь сквозь заградительный огонь зениток, устремились к переправе.

И снова густое облако бурой пыли, словно туманом, заволокло окопы, высоко поднялось в безветренном воздухе, закрыло солнце. Сквозь гул разрывов, воющий свист осколков и глухой обвальный шум падающей сверху земли Лопахин тщетно пытался услышать выстрелы своих зениток. Находившаяся в школьном саду батарея молчала, и Лопахин с горечью подумал: «Накрыли, гады!» Потом на ум ему пришла мысль, что батарея, может быть, успела скочевать со старых позиций, и он несколько успокоился.

В дьявольском грохоте, заполнившем все вокруг, он почти не различал выкриков Сашки.

Оглушенный и подавленный свирепствовавшим над землею ураганом взрывов, он все же находил в себе силы и, отрываясь от стенки окопа, часто, но осторожно высовывался над бруствером. Горячие толчки взрывных волн откидывали его голову, но он пытливо смотрел сквозь пелену пыли вперед, стараясь рассмотреть, не идут ли вражеские танки, прикрываясь бомбежкой с воздуха.

В одно из таких мгновений в прорезанной пламенем взрывов и застилавшей солнце темноте он случайно взглянул туда, где был окоп Звягинцева, и с облегчением и радостью увидел, как после очередного выстрела чуть вздрагивает поднятое вверх дуло винтовки, а потом на секунду увидел и шевельнувшуюся каску Звягинцева со знакомой вмятиной на боку, густо запорошенную пылью и теперь уже окончательно утратившую тусклый глянец защитной краски.

«Просто молодец парень!— с восторгом подумал Лопахин.— Этого не запугаешь никакой музыкой...»

Опасения Лопахина вскоре оправдались: не успели самолеты после двух заходов отвалить, как с бугра донесся шум моторов, но уже совсем иной, прижатый к земле, сплошной, перемешанный с лязгом и железным скрежетом гусениц. Почти одновременно по переправе из-за высоты открыла огонь артиллерия немцев, и наши батареи, на той стороне Дона, в лесу, дружно ответили.

— Ну, Сашка, подтяни штаны и держись!— ободряюще улыбаясь, сказал Лопахин.— Да поглядывай, чтобы ни один танкист не ушел, когда запалю машину. Как у тебя настрой? Ничего? Вот и хорошо: главное в нашей вредной профессии — это чтобы настрой не падал.

Он приник к ружью и снова, как и в тот момент, когда вражеский самолет пикировал на окопы, словно бы слился со своим нескладно длинным ружьем, не отводя глаз от задернутых теперь уже поредевшей пеленою пыли стальных

гремящих коробок, которые шли с бугра, построившись уступом и образуя как бы тупой клин.

Нет, теперь-то можно было дышать полной грудью! Начало этого боя вовсе не походило на тот бой, когда остатки разбитого полка сумели отстоять высоту и отразить натиск противника, имея всего-навсего четыре противотанковых ружья и несколько пулеметов. Теперь бой разворачивался совсем по-иному. Не успели танки продвинуться и на половину расстояния до намеченных Лопахиным ориентиров, как на пути их уже встал черный частокол разрывов. Била полковая артиллерия, да так старательно и толково, что вскоре из двадцати средних танков, вывернувшихся из-за бугра, три застыли на месте, а четвертый не успел пройти и десятка метров, волоча за собою черный шлейф дыма, как следующий снаряд взвернул у правого борта его лохматый столб земли, и танк легко и послушно накренился, словно пытаясь зачерпнуть краем развороченной башни этой благодатной, черноземной донской земли, которую несколько минут назад он так горделиво попирал гусеницами...

В восторге от стрельбы артиллеристов Лопахин, будто плоскогубцами, сдавил пальцами плечо Сашки, воскликнул:

— Стреляют-то... стреляют-то как! Ах, мамины дети, кто их только учил? Я б того человека в маковку расцеловал! Гляди, Сашка, ведь этак мы с тобой нынче можем безработными оказаться!

С левого фланга, из небольшого садика, стала бить по танкам и батарея ПТО. За несколько минут было подбито еще два танка, но остальные успели прорваться вперед и теперь были от окопов уже не далее как в двухстах метрах.

Лопахин отчетливо видел темно-серый приземистый корпус танка, шедшего немного наискось, видел и смутные очертания какого-то причудливого, хвостатого зверя, намалеванного белой краской на борту танка, чуть левее креста. Всё видели его воспаленные и слезившиеся глаза, но

он ждал, когда расстояние сократится хотя бы еще на полсотню метров, чтобы бить наверняка.

Из-под гусениц танка выпархивала, низко над землей, над мелким степным полынком стлалась серая пыль. Иногда на солнце вдруг вспыхивал отполированный трак гусеницы, и опять, словно хлопья волочащейся за танком серой ваты, клубилась пыль, а поверх ее было видно, как медленно вращается башня, из дула пушки раздвоенным змеиным жалом на короткий миг вдруг высовывается и исчезает бледный и острый огонек, почти невидимый в лучах яркого утреннего солнца, а затем на правом фланге роты впереди и сзади желтых холмиков окопов вспухает черный, медленно оседающий гриб поднятой взрывом земли и слышится характерно звонкий, лопающийся звук разрыва.

Со второго патрона Лопахин подбил танк. Почти одновременно загорелись еще два танка... Остальные, круто разворачиваясь, повернули назад, скрылись за высотой. И только когда последний танк исчез за пыльным гребнем кургана, Лопахин, сверкнув синеватыми белками, глянул на бледное лицо Копытовского, вкрадчиво спросил:

— Что это ты, Сашенька, какой-то серый стал?

— Посереешь от такой жизни,— тяжело переводя дыхание, ответил Копытовский.

Спустя полчаса немцы повторили атаку. На этот раз около десятка немецких танков уже в сопровождении автоматчиков попробовали пробить брешь в обороне на стыке двух рот, одной из которых командовал лейтенант Голощеков.

Удар пришелся по левому флангу роты Голощекова. Шедший впереди средний танк противника с ходу налетел на плетневую, обмазанную глиной колхозную кузницу, на миг весь окутался пылью и, вырвавшись из-под рухнувших обломков, неся на броне сухой хворост и осыпающийся мусор, расстрелял пушечным огнем расчет

станкового пулемета, успел раздавить несколько стрелковых ячеек... Он шел зигзагами, утюжа гусеницами окопы, ворочая низко срезанным, тупым серым рылом. Он быстро приближался к Лопахину, и, когда, покрыв всей громадиной окоп ефрейтора Кочетыгова, вдруг затормозил одну гусеницу и завертелся на месте, стараясь завалить землей глубокий окоп, Лопахин выстрелил. Но не он уничтожил этот танк: по грудь засыпанный землею, уже умирающий ефрейтор Кочетыгов потянулся вверх и, едва лишь танк сполз с его разрушенного окопа, слабым, детским движением взмахнул рукой. Бутылка тоненько, неслышно в грохоте боя чокнулась с покатой серой бронею танка, звякнула и разлетелась на мелкие осколки, а по литой броне поползли горючее пламя, кучерявый, нежно-голубой дымок.

Горящий танк, с взревевшим словно от нестерпимой боли мотором, повернул под прямым углом, ринулся в сад, пытаясь сбить пламя о ветви поверженного огнем густого вишенника.

Ослепленный и полузадушенный дымом водитель, наверное, плохо видел: на полном ходу танк попал в пустой, заброшенный колодец, ударился о выложенную камнем стенку и, накренившись, приподняв дышащее перегретым маслом черное днище, так и застыл там, обезвреженный, ожидающий гибели... Все еще с бешеной скоростью вращалась левая гусеница его, тщетно пытаясь ухватиться белыми траками за землю, а правая, прогибаясь, повисла над взрытой землей, бессильная и жалкая.

Все это видел Копытовский. Дыша коротко и часто, следил он округлившимися глазами за свирепым движением и гибелью вражеского танка и опомнился только тогда, когда над ухом лопнул знакомый выстрел своего, лопахинского, ружья. С птичьей быстротой повернув голову, Копытовский увидел справа, в сотне метров от окопа, танк, шедший неровными, судорожными рывками и через короткое мгновение остановив-

шийся, и почти вплотную возле себя, сбоку, багровое, чужое лицо Лопахина.

Два немецких танкиста, словно серые тени, метнулись из люка остановившейся машины. Один из них, в распахнутом мундире, падая на спину, круто повернулся на каблуках, крестом раскинул руки; второй, без шапки, темноволосый, в серой рубашке с завернутыми по локти рукавами, хотел было встать на колени и вдруг опять приник к земле, приник всем телом, пополз, извиваясь по-змеиному, почти не шевеля руками...

В это самое мгновение замешкавшийся на секунду Копытовский почувствовал, как из рук его с силой рванули автомат: Лопахин, не сводя завороженных глаз с ползущего танкиста, тянул к себе автомат Копытовского, но как только справа, из окопа Звягинцева, треснул одинокий выстрел и ползущий танкист уткнулся носом в землю, Лопахин отпустил автомат, повернул к Копытовскому исказившееся от гнева лицо, со свистом втягивая сквозь стиснутые зубы воздух, заикаясь, сказал:

— Ты... сволочь, раздолбанное корыто!.. Ты воюешь или как? Чего вовремя не стрелял? Ждешь, когда он в плен начнет сдаваться?! Бей его, пока он руки вверх не успел поднять! Бей его с лету! Мне немец на моей земле не пленный нужен, мне он тут нужен — мертвый, понятно тебе, ты, мамин сын?!

* * *

Уже высоко над истерзанной снарядами землей поднялось в синем и хорошем небе солнце, уже острее, горше и милее сердцу стал запах пригретого солнцем степного полынка, когда из-за окутанных маревом донских высот снова появились танки и немецкая пехота снова поднялась в третью по счету, бесплодную атаку...

Шесть ожесточенных атак отбили бойцы соединения, прикрывавшего подступы к переправе,

немецкая пехота и танки откатились за высоты, и к полудню над полем боя установилось недолгое затишье.

После громового гула артиллерийской канонады, грохота разрывов и пулеметно-автоматной трескотни, раскатами ходившей вдоль всего переднего края, необычной и странной показалась Звягинцеву эта внезапно наступившая тишина... Медленным движением он снял с головы каску, устало провел по грязному лицу рукавом гимнастерки, отирая обильно струившийся пот, затем, с удовольствием прислушиваясь к негромким звукам собственного голоса, сказал:

— Ну, вот и притихло...

Он наслаждался блаженной тишиной и с детским вниманием, слегка склонив голову набок, долго прислушивался к сухому шороху осыпавшейся с бруствера земли. Песчинки и мелкие, черствые крошки глины желтым ручейком стекали по скату насыпи, отвесно падали на дно окопа, ударялись о расстрелянные гильзы, густо лежавшие у ног Звягинцева, и гильзы тоненько, мелодично позвякивали, словно невидимые, скрытые под землей колокольчики. Где-то совсем близко застрекотал кузнечик, Звягинцев послушно повернулся и на этот новый, привлекший его внимание звук. Оранжевый шмель с жужжанием, похожим на вибрирующий стон низко отпущенной басовой струны, сделал круг над окопом, на лету выпустил бархатно-черные, мохнатые лапки, сел на торчавший из бруствера стебель ромашки. Часто мигая, Звягинцев внимательно смотрел на упруго качавшуюся запыленную ромашку, на невероятно нарядного шмеля, смотрел так, будто все это он видел впервые в жизни, и вдруг удивленно вскинул голову: легко пахнувший ветерок откуда-то издалека донес до его слуха чистый и звонкий крик перепела...

И шелест ветра в сожженной солнцем траве, и застенчивая, скромная красота сияющей белыми лепестками ромашки, и рыскающий в знойном воздухе шмель, и родной, знакомый с детства

голос перепела — все эти мельчайшие проявления всесильной жизни одновременно и обрадовали и повергли Звягинцева в недоумение. «Как будто и боя никакого не было, вот диковинные дела! — изумленно думал он.— Только что кругом смерть ревела на все голоса, и вот тебе, изволь радоваться, перепел выстукивает, как при мирной обстановке, и вся остальная насекомая живность в полном порядке и занимается своими делами... Чудеса, да и только!»

Растерянно озиравшийся Звягинцев напоминал в эти минуты человека, только что очнувшегося от давившего его во сне кошмара й со вздохом облегчения принявшего простую и желанную действительность. Ему потребовалось еще некоторое время, чтобы освоиться и привыкнуть к тишине. А тишина стояла настороженная, недобрая, как перед грозой, и, продлись она дальше, Звягинцев, наверное, стал бы тяготиться ею, но вскоре на левом фланге короткими очередями застучал пулемет, из-за высоты начали пристрелку тяжелые немецкие минометы, и недолгое затишье кончилось так же внезапно, как и началось.

Подносчик патронов — молоденький, малознакомый Звягинцеву красноармеец — подполз сзади к окопу, сказал, кряхтя и отдуваясь:

— Боепитание доставил. Ну, как, борода, заправляться будешь?

Звягинцев провел ладонью по отросшей на щеках медно-красной щетине, обидчиво спросил:

— Какая же я, то есть, борода! Что я тебе — старик, что ли?

— Старик не старик, а около этого, обросший до безобразия. Ну, отсыпай свою порцию.

— Мало ли что обросший... Красоту при таком отступлении некогда наводить, это понимать надо, а года мои не такие уж старые,— недовольно проговорил Звягинцев, начиняя патронную сумку тяжелыми маслянисто-теплыми на ощупь патронами.

Не обращая внимания на поправку, словоохотливый подносчик сказал:

— Что ты, отец, гнешься в окопе, как грешная душа? Немца на виду нету, стрельбы настоящей тоже нету, вылазь на солнышко, разомни старые кости!

Слова «отец» и «старые кости», очевидно, пришлись Звягинцеву не по вкусу, он поморщился, не без ехидства спросил:

— А почему же ты, парень молодой, на пузе передвигаешься, если немца не видно и огня мало?

— Это я по старой привычке, — смеясь, ответил подносчик. — Понимаешь, при моей специальности до того привык ползком, как пресмыкающееся животное, пробираться, что боюсь, как бы вовсе не разучиться на ногах ходить. Все время так и тянет на брюхе проползти...

— Дурачье дело нехитрое, вполне можешь разучиться,— охотно подтвердил Звягинцев.

От скуки ему захотелось поговорить с веселым парнем, и он спросил, как и всегда при разговоре с молодыми бойцами, невольно употребляя тон слегка снисходительный и покровительственный:

— Ты, паренек, не из третьей роты? Личность твоя мне будто знакомая.

— Из третьей.

— А фамилие твое как?

— Утишев.

— Ты женатый, Утишев?

Парень отрицательно покачал головой, заулыбался.

— Возраст мой молодой, не успел до войны.

— То-то, что не успел... Вот будешь подносчиком работать, отвыкнешь ходить, а после войны вздумаешь жениться и вместо того, чтобы идти на своих на двоих, как все добрые люди делают, вспомнишь военную привычку и поползешь на пузе к девке свататься. А она, сердешная, увидит такого жениха и — хлоп в

обморок! А невестин родитель и учнет тебя поперек спины палкой охаживать да приговаривать: «Не позорь честную невесту, такой-сякой! Ходи, как полагается!»

Утишев потянул к себе за лямку патронную коробку, усмехаясь, сказал:

— Небритый ты, а хитрый... Ты мне зубы не заговаривай, я слушать — слушаю, а патронам счет веду. Кончилась заправка! Стрелять не тебе одному.

Звягинцев хотел что-то возразить, но Утишев пополз к соседнему окопу и, не поворачивая головы, вдруг наставительно и серьезно сказал:

— А ты, борода, стреляй поэкономней и пометче, а то ты, наверное, пуляешь в белый свет, как в копеечку. Да про девушек на старости лет поменьше думай, тогда у тебя и руки дрожать не будут...

От неожиданности и обиды Звягинцев не сразу нашелся, что ответить, и, только помедлив немного, крикнул вдогонку:

— Бабушку свою поучи, как надо стрелять, сопливец ты этакий!

Утишев полз, улыбаясь и не оглядываясь, волоча за собой патронные коробки. Звягинцев презрительно посмотрел на его спину с проступившими на лопатках белыми пятнами соли, на веревочную лямку, перекинутую через плечо и глубоко врезавшуюся в добела выгоревшую на солнце гимнастерку, огорченно подумал: «Народ какой-то несерьезный пошел, просто черт его знает, что за народ! Как, скажи, все они в учениках у Петьки Лопахина были... Эх, беда, беда, нету Миколы Стрельцова, и поговорить толком не с кем».

Мимолетно погоревав об отсутствующем друге, Звягинцев привел в порядок свое солдатское хозяйство: выбросил катавшиеся под ногами гильзы, поправил скатку, вычистил травою и припрятал в нишу котелок; хотел было немного углубить окоп, но при одной

мысли о том, что надо опять орудовать лопаткой, по кусочку отколупывать сухую и твердую, как камень, землю, все существо его восстало против этого, и он ощутил вдруг такую чугунную тяжесть и усталось в руках, что сразу же и бесповоротно решил: «Обойдется и так, не колодезь же рыть, на самом деле! А смерть, если захочет,— так и в колодезе найдет».

Редкие хлопья облаков плыли на восток медленно и величаво. Лишь изредка белая, насквозь светящаяся тучка ненадолго закрывала солнце, но и в такие минуты не становилось прохладней; раскаленная земля дышала жаром, и даже теневая сторона окопа была до того нагрета, что Звягинцеву противно было к ней прикасаться.

В окопе стояла духота неподвижная, мертвая, как в жарко натопленной бане; назойливо звенели появившиеся откуда-то мухи. Разморенный полуденным зноем Звягинцев, посидев на свернутой скатке, вставал, тер тыльной стороной ладони слипавшиеся глаза, смотрел на подбитые и сгоревшие танки, на распластанные по степи трупы немцев, на бурую хвостатую тучу пыли, двигавшуюся далеко за высотами над грейдером, что тянулся на восток параллельно течению Дона. «Что-то умышляют проклятые фрицы, — думал, следя за движением пыли. — К ним, видать, подкрепления идут — вон какую пылищу подняли. Подтянут силенки, перегруппировку сделают, залижут болячки и опять полезут. Они — упорные черти, невыносимо упорные! Но и мы не из глины деланные, мы тоже научились умывать ихнего брата так, что пущай только успевают красную юшку под носом вытирать. Это им не сорок первый год! Побаловались сначала, и хватит!» — успокаивая себя, размышлял Звягинцев, а потом перевел взгляд на подбитый Лопахиным танк.

Темно-серая, еще недавно грозная машина

стояла, повернувшись наискось, зияя навсегда умолкшим жерлом приподнятого орудийного ствола. Первый танкист, прыгнувший из люка и срезанный с ног очере́дью автомата, лежал возле гусеницы, широко раскинув руки, и ветер лениво шевелил полу его распахнутого мундира; второй — убитый Звягинцевым — перед смертью успел отползти от танка. Сквозь редкие кустики полыни Звягинцев видел его темноволосый затылок, выброшенную вперед загорелую руку с засученным по локоть рукавом серой рубашки, отполированные, сверкавшие на солнце подковки и круглые, белые, стертые шляпки гвоздей на подошвах ботинок.

— При такой жарище к вечеру и вот этот крестник мой и другие битые обязательно припухнут и вонять начнут. От таких соседей тут не продыхнешь... — почему-то вслух сказал Звягинцев и гадливо поморщился.

По спине его поползли мурашки, и он зябко повел плечами, вспомнив тошнотно-сладкий, трупный запах, с самого начала весны неизменно сопутствовавший полку в боях и переходах.

Давным-давно прошло то время, когда Звягинцеву, тогда еще молодому и неопытному солдату, непременно хотелось взглянуть в лицо убитого им врага; сейчас он равнодушно смотрел на распростертого неподалеку рослого танкиста, сраженного его пулей, и испытывал лишь одно желание: поскорее выбраться из тесного окопа, который за шесть часов успел осатанеть ему до смерти, и поспать без просыпу суток двое где-нибудь в скирде свежей ржаной соломы.

Он без труда восстановил в памяти духовитый запах только что обмолоченной ржи, застонал от нахлынувших и сладко сжавших сердце воспоминаний и снова опустился на дно окопа, откинул голову, закрыл глаза. Его борол сон, и теперь он с удовольствием пого-

ворил бы даже с Лопахиным, чтобы развеять тяжкую дрему, но Лопахин после четвертой атаки немцев перекочевал в запасной окоп и был далеко.

В забытьи, когда незаметно стирается грань между сном и явью, Звягинцев видел жену, детишек, убитого им танкиста в серой рубашке, директора МТС, какую-то незнакомую мелководную речушку с быстрым течением и отшлифованной разноцветной галькой на дне... Речушка бесновалась в круглых глинистых берегах, гудела все настойчивее, сильнее, и Звягинцев нехотя очнулся, раскрыл глаза: над ним высоко в небе шла шестерка наших истребителей, далеко опережая отстающий звенящий гул своих моторов.

Звягинцев был человеком практического склада ума и любил свою авиацию не вообще и не во всякое время, а только когда она прикрывала его с воздуха или на его глазах бомбила и штурмовала вражеские позиции; потому-то он и проводил стремительно удалявшихся истребителей холодным взглядом из-под сонно приспущенных век, с тихой злостью забормотал:

— Опять опоздали! Когда нас немцы бомбили и висели над нашим порядком, как привязанные, — вы небось кофей пили да собачьи валенки свои натягивали, а теперь, после шапочного разбора, пошли в пустой след порхать, государственное горючее зря жечь... Истребители бензина вы, вот кто вы есть такие!

Излить свое негодование до конца ему не удалось: немцы начали артиллерийскую подготовку, и на передний край обрушился вдруг такой жесточайший шквал огня, что Звягинцев вмиг позабыл и об истребителях и обо всем остальном на свете...

Сотни снарядов и мин, со свистом и воем вспарывая горячий воздух, летели из-за высот, рвались возле окопов, вздымая брызжущие осколками черные фонтаны земли и дыма,

вдоль и поперек перепахивая и без того сплошь усеянную воронками извилистую линию обороны. Разрывы следовали один за другим с непостижимой быстротой, а когда сливались, над дрожавшей от обстрела землей вставал протяжный, тяжко колеблющийся, всеподавляющий гул.

Давно уже не был Звягинцев под таким сосредоточенным и плотным огнем, давно не испытывал столь отчаянного, тупо сверлящего сердце страха... Так часто и густо ложились поблизости мины и снаряды, такой неумолчный и все нарастающий бушевал вокруг грохот, что Звягинцев, вначале кое-как крепившийся, под конец утратил и редко покидавшее его мужество и надежду уцелеть в этом аду...

Бессонные ночи, предельная усталость и напряжение шестичасового боя, очевидно, сделали свое дело, и когда слева, неподалеку от окопа, разорвался крупнокалиберный снаряд, а потом, прорезав шум боя, прозвучал короткий, неистовый крик раненого соседа, — внутри у Звягинцева вдруг словно что-то надломилось. Он резко вздрогнул, прижался к передней стенке окопа грудью, плечами, всем своим крупным телом и, сжав кулаки так, что онемели кончики пальцев, широко раскрыл глаза. Ему казалось, что от громовых ударов вся земля под ним ходит ходуном и колотится, будто в лихорадке, и он, сам охваченный безудержной дрожью, все плотнее прижимался к такой же дрожавшей от разрывов земле, ища и не находя у нее защиты, безнадежно утеряв в эти минуты былую уверенность в том, что уж кого-кого, а его, Ивана Звягинцева, родная земля непременно укроет и оборонит от смерти...

Только на миг мелькнула у него четко оформившаяся мысль: «Надо бы окоп поглубже отрыть»,— а потом уже не было ни связных мыслей, ни чувств, ничего, кроме жадно сосавшего сердце страха. Мокрый от пота, оглохший от свирепого грохота, Звягинцев закрыл глаза,

безвольно уронил между колен большие руки, опустил низко голову и, с трудом проглотив слюну, ставшую почему-то горькой, как желчь, беззвучно шевеля побелевшими губами, начал молиться.

В далеком детстве, еще когда учился в сельской школе, по праздникам ходил маленький Ваня Звягинцев с матерью в церковь, наизусть знал всякие молитвы, но с той поры в течение долгих лет никогда никакими просьбами не беспокоил бога, перезабыл все до одной молитвы — и теперь молился на свой лад, коротко и настойчиво шепча одно и то же: «Господи, спаси! Не дай меня в трату, господи!..»

Прошло несколько томительных, нескончаемо долгих минут. Огонь не утихал... Звягинцев рывком поднял голову, снова сжал кулаки до хруста в суставах, глядя припухшими, яростно сверкающими глазами в стенку окопа, с которой при каждом разрыве неслышно, но щедро осыпалась земля, стал громко выкрикивать ругательства. Он ругался так, что на этот раз, если бы слышал, ему мог бы позавидовать и сам Лопахин. Но и это не принесло облегчения. Он умолк. Постепенно им овладевало гнетущее безразличие... Сдвинув с подбородка мокрый от пота и скользкий ремень, Звягинцев снял каску, прижался небритой, пепельно-серой щекою к стенке окопа, устало, отрешенно подумал: «Скорей бы убили, что ли...»

А кругом все бешено гремело и клокотало в дыму, в пыли, в желтых вспышках разрывов. Покинутый жителями хутор горел из конца в конец. Над пылающими домами широко распростерла косматые крылья огромная черная туча дыма, и к плававшему поверх окопов едкому запаху пороховой гари примешался острый и горький душок жженого дерева и соломы.

Артиллерийская подготовка длилась немногим более получаса, но Звягинцев за это время будто бы вторую жизнь прожил. Под конец у него несколько раз являлось сумасшедшее желание:

выскочить из окопа и бежать туда, к высотам, навстречу двигавшейся на окопы сплошной, черной стене разрывов, и только большим напряжением воли он удерживал себя от этого бессмысленного поступка.

Когда немецкая артиллерия перенесла огонь в глубину обороны и гулкие удары рвущихся снарядов зачастили по горящему хутору и еще дальше, где-то по мелкорослому редкому дубняку луговой поймы,— Звягинцев, осунувшийся и постаревший за эти злосчастные полчаса, механическим движением надел каску, вытер рукавом запыленный затвор и прицельную рамку винтовки, выглянул из окопа.

Вдали, перевалив через высотки, под прикрытием танков, густыми цепями двигалась немецкая пехота. Звягинцев услышал смягченный расстоянием гул моторов, разноголосый рев идущих в атаку немецких солдат и как-то незаметно для самого себя поборол подступившее к горлу удушье, весь подобрался. Хотя сердце его все еще продолжало биться учащенно и неровно, но от недавней беспомощной растерянности не осталось и следа. Мягко ныряющие на ухабах танки, орущие, подстегивающие себя криком немцы — это была опасность зримая, с которой можно было бороться, нечто такое, к чему Звягинцев уже привык. Здесь в конце концов кое-что зависело и от него, Ивана Звягинцева; по крайней мере он мог теперь защищаться, а не сидеть сложа руки и не ждать в бессильном отчаянии, когда какой-нибудь одуревший от жары, невидимый немец-наводчик прямо в окопе накроет его шалым снарядом...

Звягинцев глотнул из фляги теплой, пахнущей илом воды и окончательно пришел в себя: впервые почувствовал, что смертельно хочет курить, пожалел о том, что теперь уже не успеет свернуть папироску и затянуться хотя бы несколько раз. Вспомнив только что пережитый им страх и то, как молился, он с сожалением, словно о ком-то постороннем, подумал: «Ведь вот до че-

го довели человека, сволочи!» А потом представил язвительную улыбочку Лопахина и тут же предусмотрительно решил: «Об этом случае надо приправить молчок — не дай бог рассказать Петру, он же проходу тогда не даст, поедом съест! Оно, конечно, мне, как беспартийному, вся эта религия вроде бы и не воспрещается, а все-таки не очень... не так, чтобы очень фигуристо у меня получилось...»

Он испытывал какое-то внутреннее неудобство и стыд, вспоминая пережитое, но искать весомых самооправданий у него не было ни времени, ни охоты, и он мысленно отмахнулся от всего этого, конфузливо покряхтел, со злостью сказал про себя: «Эка беда-то какая, что помолился немножко, да и помолился-то самую малость... Небось нужда заставит, еще и не такое коленце выкинешь! Смерть-то, она — не родная тетка, она, стерва, всем одинаково страшна — и партийному, и беспартийному, и всякому иному прочему человеку...»

Артиллерия противника снова перенесла огонь на передний край, но теперь Звягинцев уже не с прежней обостренной чувствительностью воспринимал все происходившее вокруг него: и вражеский огонь не казался ему таким сокрушающим, да и снаряды месили землю не только возле его окопа, как представлялось ему раньше, а с немецкой аккуратностью окаймляли всю ломаную линию обороны...

Следуя за огневым валом, немецкая пехота приближалась к окопам. Солдаты шли спорым шагом, во весь рост. Танки били из пушек с ходу и с коротких остановок, но ответный орудийный огонь по ним, как заметил Звягинцев, стал значительно слабее. Тогда на помощь пришла наша тяжелая артиллерия. Далеко за Доном прокатился счетверенный глухой гром, снаряды с тяжким, шепелявым шелестом и подвыванием высоко над окопами прочертили в воздухе невидимые дуги, и разом впереди немецкой цепи вы-

махнули громадные, черные, расщепленные вверху столбы земли.

Танки рванулись вперед, спеша выйти из зоны обстрела. Не поспевая за ними, бегом двинулась и немецкая пехота.

С замирающим сердцем Звягинцев следил за тем, как, падая и шарахаясь от разрывов, обтекая воронки, быстро приближались расчлененные, скупо редеющие группы вражеских солдат. Многие из них на бегу уже строчили из автоматов... И вдруг ожил до этого таившийся в молчании наш передний край! Казалось бы, что все живое здесь давно уже сметено и сравнено с землей огнем вражеских батарей, но уцелевшие огневые точки дружно вступили в дело, и по немецкой пехоте хлестнул косой смертельный ливень пулеметного огня. Немцы залегли, однако, немного погодя, снова двинулись короткими перебежками на сближение.

Только на мгновение Звягинцев поднял прикованные к земле глаза — ничто не изменилось за последние полчаса там, вверху: небо было по-прежнему синее, безмятежно и величественно равнодушное, и так же неторопливо плыли в глубочайшей синеве редкие, словно бы опаленные солнцем и чуть задымленные по краям облака, и все тот же ровный, легкого дыхания ветер увлекал их на восток... Звягинцев увидел краешек этого голубого, осиянного солнцем мира, но все то, что успел он охватить одним безмерно жадным взглядом, разило прямо в сердце и было как скорбная улыбка, как прощальная женская улыбка сквозь слезы...

Совсем близко от щеки Звягинцева, возле его прищуренного глаза, мешая смотреть, колыхалась поникшая, отягощенная пылью ромашка, шевелились сизые веточки полыни, а дальше, за причудливым сплетением травинок, отчетливо и резко вырисовывались полусогнутые фигуры врагов, с каждой минутой все более увеличивающиеся в размерах, неотвратимо приближающиеся...

Прямо на окоп Звягинцева направлялись восемь немецких солдат. Впереди них, слегка клонясь вперед, будто преодолевая сопротивление сильного ветра, быстро шагал офицер. Он на ходу беззаботно помахивал палочкой, потом повернулся вполоборота и, видимо, что-то скомандовал. Солдаты обогнали его, побежали тяжелой рысью.

Звягинцев взял на мушку офицера, на секунду затаил дыхание, выстрелил. Он ждал, что офицер упадет, но тот продолжал идти как ни в чем не бывало. Дивясь бесстрашию лихого офицера и негодуя на себя, Звягинцев выстрелил второй раз, третий, спеша и волнуясь, послал еще две пули... Офицер шел, как заколдованный, может быть, лишь слегка убыстрив шаг, и по-прежнему игриво, словно на прогулке, помахивал палочкой и что-то горланил вслед солдатам.

«Да он же пьяный, собака!»— озарила Звягинцева догадка, и он, вставляя дрожащими пальцами обойму, от нетерпения и ярости заскрипел зубами: «Ну, погоди же... сейчас я тебя приземлю! Сейчас ты на земле допьешь свое...»

Пока он заряжал винтовку, сержант Никифоров со спокойной, деловитой неторопливостью двумя короткими очередями свалил бравого офицера и трех солдат. Остальные пятеро, отрезвленные потерями, поспешно залегли в воронках, начали с такой быстротой опорожнять обоймы автоматов, как будто хотели сразу расстрелять весь свой боезапас.

Танки гремели где-то справа. За шумом боя Звягинцев едва расслышал напряженный до предела, хриплый голос лейтенанта Голощекова:

— Пропускай танки! Пропускай танки! По пехоте — огонь!..

Уже на всем протяжении занятой ротой обороны, а также и на соседнем участке, куда нацелен был главный удар противника, немецкая пехота, отсеченная от танков огнем, залегла, а

затем стала продвигаться вслед за прорвавшимися танками ползком от укрытия к укрытию, медленно сближаясь, готовясь к решающему броску.

Немцы были близко. Звягинцев отчетливо слышал слова немецкой команды — чужие слова ненавистной вражеской речи — и гулкие удары сердца, заполнившего всю грудную клетку. Он стрелял и в то же время тоскливо прислушивался: не застучит ли умолкший неожиданно пулемет сержанта Никифорова? Но пулемет молчал. «Сейчас — в штыки»,— с равнодушием обреченности подумал Звягинцев, ощупывая потной рукой гранату. От волнения ему не хватало дыхания, и он раздувал ноздри и втягивал горячий, пахнущий дымом воздух с сапом, словно загнанная непосильной скачкой лошадь.

Минуту спустя немцы с криком поднялись. Как в тумане, увидел Звягинцев серо-зеленые мундиры, услышал грузный топот ног, гром рвущихся ручных гранат, торопливые хлопки выстрелов и короткую, захлебнувшуюся пулеметную очередь... Он кинул по сторонам беглый, затравленный взгляд: из окопов уже выскакивали товарищи, его родные товарищи, побратимы на жизнь и на смерть; их было немного, но жидкое «ура!» их звучало так же накаленно и грозно, как и в былые, добрые времена...

Одним махом Звягинцев выбросил из окопа свое большое, ставшее вдруг удивительно легким, почти невесомым тело, перехватил винтовку, молча побежал вперед, стиснув оскаленные зубы, не спуская исподлобного взгляда с ближайшего немца, чувствуя, как вся тяжесть винтовки сразу переместилась на кончик штыка.

Он успел отбежать от окопа всего лишь несколько метров. Позади молнией сверкнуло пламя, оглушительно громыхнуло, и он упал вниз лицом в клубящуюся темноту, которая мгновенно разверзлась перед его широко раскрывшимися, обезумевшими от страшной боли глазами.

* * *

Незадолго до заката солнца, измотанные безуспешными попытками овладеть переправой, немцы прекратили атаки, закрепились на высотах и, не предпринимая активных действий, стали методически обстреливать переправу и пустынные дороги луговой поймы артиллерийско-минометным огнем.

Вечером оборонявшееся соединение получило приказ командования об отступлении на левую сторону Дона. Дождавшись темноты, части бесшумно снялись, миновав развалины сгоревшего хутора, бездорожно, лесом начали отходить к Дону.

Остатки роты вел старшина Поприщенко. Тяжело раненного лейтенанта Голощекова несли на плащ-палатке бойцы, сменяясь по очереди. Позади всех шел мрачный, злой, как черт, Лопахин и — чуть в стороне от него — согнувшийся в дугу Копытовский, несший тяжелый мешок с патронами и ружье убитого бронебойщика Борзых.

Когда проходили по месту, где утром сиял зеленой листвою и полнился звонкими птичьими голосами сад, а теперь чернели одни обугленные пни и, словно разметанные бурей невиданной силы, в диком беспорядке лежали вырванные с корнем, изуродованные и поломанные деревья с иссеченными осколками ветвями, Лопахин остановился возле широкого устья колодца, внимательно посмотрел на мрачно черневший в темноте силуэт сгоревшего немецкого танка. Танк стоял, накренившись набок, подмяв под себя одной гусеницей кусты малины и изломанный в щепки обод поливального колеса, при помощи которого когда-то орошались, жили, росли и плодоносили деревья. В теплом воздухе неподвижно висел смешанный прогорклый запах горелого железа, выгоревшего смазочного масла, жженого человеческого мяса, но и этот смердящий запах мертвечины не в силах был

заглушить нежнейшего, первозданного аромата преждевременно вянущей листвы, недоспелых плодов. Даже будучи мертвым, сад все еще источал в свою последнюю ночь пленительное и сладостное дыхание жизни...

Шаркая сапогами по оборванным и спутанным плетям ежевичника, подошел Копытовский, вздохнул, тихо проговорил:

— Эх, жизнь ты наша, жестянка! Закурить бы...

— По мине соскучился? Потерпишь и не куря,— сухо и так же тихо отозвался Лопахин.

— Потерпишь, потерпишь,— недовольно забормотал Копытовский.— Русский солдат, конечно, все вытерпит, но и у него ведь терпелка не из железа выструганная... Я и так нынче до того натерпелся всякой всячины, что вдоль моего терпения все швы полопались...

Лопахин молчал, все так же пристально смотрел на темную громадину танка. Копытовский поправил мешок на спине, приглушенно заговорил:

— И курить страшная охота, а жрать — не говори! Это у кого какая натура: у иного от страху все наружу просится, а я, чем больше пугаюсь, тем сильнее жрать хочу. А день нынче был страховитый, ой и страховитый! Как он, этот проклятущий немец, пер на нас нынче, а? Я себя уж в покойники записал, думал, что навек позабуду, как дышать, ан нет, не вышло!

Лопахин не слышал Копытовского; молча указав на танк, он проговорил:

— Вот она, Кочетыгова работа, а самого уже нету в живых, геройски погиб... Парень-то какой был!

Без необходимости о смерти товарищей не принято было говорить — таков был в части молчаливый сговор,— но тут Лопахина словно прорвало, и он, обычно не очень-то охочий на излияния подобного рода, вдруг заговорил взволнованным, горячим полушепотом:

— Огонь был, а не парень! Настоящий ком-

сорг был, таких в полку поискать. Да что я говорю — в полку! В армии! А как он танк поджег? Танк его уже задавил, засыпал землей до половины, грудь ему всю измял... У него кровь изо рта хлестала, я сам видел, а он приподнялся в окопе — мертвый приподнялся, на последнем вздохе! — и кинул бутылку... И зажег! Мать теперь узнает,— это как? Понимаешь ты, как она после этого жить будет?! Я же стрелял в этот проклятый танк. Не взяло! Не взяло, будь он проклят. Раньше надо было его бить, на подходе, и не в лоб, а по борту... Дурак я! Старый, трижды проклятый богом дурак! Заспешил я, и вот погиб парень... Еще не жил, только что оперился, а сердце — как у орла! Смотри, на что оказался способный, на какое геройство, а? А я... я, когда таких ребят по восемнадцати да по девятнадцати лет на моих глазах убивают, я, брат, плакать хочу... Плакать и убивать беспощадно эту немецкую сволочь! Нет, брат, мне погибать — совсем другое дело: я довольно пожилой кобель и жизнь со всех концов нюхал, а когда такие, как Кочетыгов, гибнут, у меня сердце не выдерживает, понятно? Чем немцы за это расплатятся? Ну, чем? Вот она, немецкая падаль лежит тут и воняет, а сердце у меня все равно голодное: мстить хочу! А за материнские слезы чем они расплатятся? Да я по колени, по глотку, по самые ноздри забреду в поганую немецкую кровь и все равно буду считать, что расплата еще не начиналась! Не начиналась, понятно?

Косноязычная, несвязная, как у пьяного, речь Лопахина несказанно удивила и взволновала Копытовского. Вначале он слушал равнодушно и, чтобы не так хотелось курить, сунул в рот щепоть измявшейся в порошок махорки. Он жевал горчайшую табачную жвачку, сплевывал обжигавшую нёбо и десны слюну и удивлялся, что это подеялось с Лопахиным, всегда таким сдержанным на любое проявление чувств? На Лопахина это было совсем непохоже, нет, непохоже!

А под конец Копытовский уже судорожно глотал пропитанную табачной горечью слюну и, всячески стараясь подавить непрошенное волнение, тщетно пытался рассмотреть в темноте выражение лица Лопахина. Но тот стоял к нему вполоборота, низко опустив голову, и в интонациях голоса его, в наклоне головы было что-то такое, от чего Копытовскому стало окончательно не по себе. Все эти рассуждения и воспоминания о погибшем Кочетыгове были явно не к месту и не ко времени, Копытовский был в этом твердо убежден. И он поборол волнение, решительно и резко сказал:

— Хватит тебе причитать! Ты сейчас вроде как плохая баба... Ну, убили парня, да мало ли их нынче побили? Всех не оплачешь, и вовсе не наше с тобой это дело, и вовсе ни к чему сейчас этот разговор. Давай, трогайся, а то ребята уже далеко ушли, как бы не отбиться нам.

Лопахин круто повернулся, не сказав ни слова больше, пошел вперед. В молчании они прошли мимо тонувших в лиловом сумраке развалин МТФ, размеренным пехотным шагом протопали по хрустевшим под ногами обломкам черепицы, и только в лесу, когда присели на минуту отдохнуть, Лопахин прервал долгое молчание:

— А Звягинцев тоже... убит?

— А я откуда же знаю?

— Ты же сказал, что видел, как он упал.

— Ну, видел, а убит он или ранен — не знаю. Я его за пульс не щупал.

— Может, это не он? Может, не он падал-то? Ты ведь мог в суматохе не разобрать...— с робко прозвучавшей в голосе надеждой снова спросил Лопахин.

И опять в дрогнувшем голосе Лопахина проскользнула жалкая, незнакомая Копытовскому нотка, и Копытовский невольно смягчился, уже иным тоном сказал:

— Нет, он падал — Звягинцев, это я видел точно. Мина сзади него рванула, ну, он и с ног долой, а насмерть или как, не знаю.

— Что ты знаешь? Что ты только знаешь? Ни

черта ты ничего не знаешь! Тебе и знать-то нечем, аппарата у тебя такого нет,— раздраженно, желчно сказал Лопахин.— Вставай, пошли. Расселся, как на курорте, тоже мне — фигура...

Это говорил уже прежний, обычный Лопахин, и голос у него теперь звучал по-старому: грубовато, с хриплым надсадцем... Копытовский хотя и обиделся, но смолчал: с прежним-то Лопахиным жить было попроще...

Снова они молча шли в кромешной тьме, спотыкаясь об оголенные корни дубков, цепляясь за разлатые ветви кустарника, только по звуку шагов определяя направление, взятое идущими впереди. В лощине около перекрестка дорог их накрыла огнем минометная батарея противника. Несколько минут они лежали, прижимаясь к похолодавшей песчаной земле, а потом по команде старшины поднялись, бегом пересекли дорогу. Огонь был слепой, и потерь они не понесли. И еще раз, когда подходили к полуразрушенной дамбе, по которой немцы пристрелялись еще засветло, попали под обстрел и на этот раз пролежали в кустарнике почти полчаса.

Непроглядная темнота озарялась вспышками разрывов, насквозь прошивалась светящимися нитями трассирующих пуль. Иногда далеко на высотах, где были немцы, загорался белый, ослепительный свет ракет, отблеск его ложился на верхушки деревьев, причудливо скользил по ветвям и медленно, как бы нехотя, угасал. Ночью в лесу особенно гулко, раскатисто звучали разрывы снарядов, и каждый раз Копытовский удивленно восклицал:

— Ну и зву-у-ук тут, как в железной бочке!

За дамбой их окликнули; тускло мигнул и погас луч карманного фонарика, прикрытого полой шинели; чей-то преисполненный мягкого добродушия басок прогудел:

— Ну, куда прешь, пехота? Куда прешь? Топаете, как овцы, без разбору, а тут минировано. Держи левее дамбы, на сотенник левее... Как это не обозначено? Очень даже обозначено, ви-

дишь, столбики забиты и люди расставлены. Где граница? А там, возле лощины, там вас встретят и укажут дорогу, там вас проводят братья-саперы. Саперы, они все могут: и на тот свет проводят и даже дальше... А это что же у вас, раненый? Лейтенант? Эх, бедолага! Растрясете вы его по такой дороге. Вам надо бы еще левее брать, там местность поровнее будет.

Отрывки услышанного разговора настроили Копытовского на мрачный лад.

— Слыхал, Лопахин, какие у этих кошкодавов порядки? — возмущенно заговорил он. — Про нас говорят — пехота, дескать, а сами чего стоят? Тоже кавалерия! Всю жизнь на топорах верхом ездят и лопатами погоняют, а туда же, куда и люди, — с насмешками... Минируют и какими-то столбиками огораживают. Да что это — опытное поле, что ли? Черт тут, в такой темноте, рассмотрит ихние столбики. Тут на телеграфный столб напорешься и, пока не стукнешься об него лбом, ничего не разберешь. Вот несчастные куроеды, лопатошники, кротовое племя! В упор ничего не видно, а они столбики забивают... Задремал бы этот саперный жеребец с басом, какой дорогу указывал, и за милую душу могли бы мы забрести на минное поле. Веселое дело! От немца ушли, а на своих минах начали бы подрываться... Ведь нам только через этот проклятый Дон перебраться, а там считай себя спасенным, и вот тебе, здравствуйте, чуть не напоролись на свое же родное минное поле. А такие случаи бывают, сколько хочешь! Кажется, вот уже достиг человек своей цели, и, пожалуйста, все идет к чертовой бабушке! У нас в колхозе — это еще до войны дело было — колхозный счетовод три года сватал одну девушку; она телефонисткой при сельсовете работала. Он ее сватает, а она не идет за него, потому что он ей совершенно не нравился и никакой к нему любви она не питала. Но он, собачий сын, все-таки своего добился: согласилась она выхо-

дить за него от отчаяния — до того надоел он ей своим приставанием. Вода, говорят, камень долбит, так и он: долбил три года и своего достиг. А она, эта девушка, заплакала и подругам так и сказала: «Выхожу за него, милые подружки, потому,— говорит,— что никакого покою от него не имею, а вовсе не по горячей любви». Ну, одним словом, пришло дело к концу, записались они в загсе. Вечером счетовод гостей созвал. Сидит за столом, сияет, как блин, намазанный маслом, довольный, невозможно гордый собой: как же, три года сватал и на своем все-таки поставил! И вот он гордился, гордился, а через полчаса тут же, за столом, ноги протянул. И знаешь, по какой причине? Вареником подавился, гад! От радости или от жадности, этого я не могу сказать, но только глотнул он его целиком, не жевавши, а вареник и попади ему в дыхательное горло. Ну, и готов! Его уж, этого неудачного молодого, и кверх ногами ставили, и по спине кулаками и стульями били, били, надо прямо сказать, с усердием и чем попадя, и квачем в горло ему лазили, чего только с ним не делали! Не помогло. Так, за столом сидя, и овдовела, к своему удовольствию, наша телефонистка. А еще у нас в колхозе был такой случай...

— Закройся со своими случаями! — строго приказал Лопахин.

Копытовский покорно умолк. Минуту спустя он споткнулся о пень и, гремя котелком, растянулся во весь рост.

— Тобою только сваи на мосту забивать! — злобно зашипел Лопахин.

— Да ведь темнота-то какая,— потирая ушибленное колено, виновато оправдывался Копытовский.

Молчать — после всего пережитого днем — он был, видимо, не в состоянии и, пройдя немного, спросил:

— Не знаешь, Лопахин, куда нас старшина ведет?

— К Дону.
— Я не про то: к мосту он ведет или куда?
— Левее.
— А на чем же мы там переправляться будем? — испуганно спросил Копытовский.
— На соплях,— отрезал Лопахин.
Несколько минут Копытовский брел молча, а потом примирительно сказал:
— А ты не злись, Лопахин! И вот ты все злишься, все злишься... И чего ты, спрашивается, злишься? Одному тебе несладко, что ли? Всем так же.
— Того и злюсь, что ты глупости одни болтаешь.
— Какие же глупости? Как будто ничего такого особенного не сказал.
— Ничего? Хорошенькое ничего! Видишь ты, что немец по мосту кроет?
— Ну, вижу.
— Видишь, а спрашиваешь: к мосту идем или куда. Ты, с твоим телячьим рассудком, ясное дело, повел бы людей к разбитому мосту, огня хватать... И вообще отвяжись от меня со своими дурацкими вопросами, без тебя тошно. И на пятки мне не наступай, а то я могу локтем кровь у тебя из носа вынуть.
— Ты на свои пятки фонари навесь, а то их не видно в потемках. Тоже, с дамскими пятками оказался...— огрызнулся Копытовский.
— Фонарей, в случае чего, я могу тебе навешать, а пока ты ко мне не жмись, я тебе не корова, и ты мне не теленок, понятно?
— Я к тебе и не жмусь.
— Держи дистанцию, понятно?
— Я и так держу дистанцию.
— Какая же это дистанция, если ты все время мне на пятки наступаешь? Что ты возле меня трешься?
— Да не трусь я возле тебя, на черта ты мне сдался!
— Нет, трешься! Что ты, потеряться боишься, что ли?

— И вот опять ты злишься,— удрученно проговорил Копытовский.— Потеряться я не боюсь, а переправляться без моста, как бы тебе сказать... ну, опасаюсь, что ли! Тебе хорошо рассуждать, ты плавать умеешь, а я не умею плавать, совершенно не умею, да и только! Идем мы левее моста, лодок там не будет, это я точно знаю. А раз лодок не будет, то переправляться придется на подручных средствах, а я уже ученый: переправлялся через Донец на подручных средствах и знаю, что это за штука...

— Может, ты на время закроешься со своими разговорчиками? — сдержанно, со зловещей вежливостью вопросил из темноты голос Лопахина.

И унылый, но преисполненный упрямой решимости тенорок Копытовского откуда-то сзади, из-за темной шапки куста, ему отозвался:

— Нет, я не закроюсь, мне жить осталось — самые пустяки, только до Дона, а потому я должен перед смертью высказаться... Даже закон есть такой, чтобы перед смертью высказываться. Подручные средства — вот что такое: умеешь плавать — плыви, а не умеешь — затыкай пальцами ноздри покрепче и ступай на дно раков пасти... Получили мы приказ форсировать Донец, ну, наш командир роты и дает команду: «Используй подручные средства, за мной, ребята, бегом!» Скатил я в воду порожний немецкий бочонок из-под бензина, ухватился за него и болтаю ногами, форсирую водную преграду в лице этого несчастного Донца. До середины кое-как добрался, не иначе течением или ветром меня отнесло, а потом, как только одежда на мне намокла, так и начал я от бочонка отрываться. Он, проклятый, вертится на воде, и я вместе с ним: то голова у меня сверху, а то внизу, под водой. Один раз открою глаза — мать честная! — красота, да и только: солнце, небо синее, деревья на берегу, в другой раз открою — батюшки светы! — зеленая вода кругом, дна не видно, какие-то светлые пузыри мимо меня вверх летят. Ну, и, как полагается, оторвался я от это-

го бочонка, пешком пошел ко дну... Спасибо, товарищ один нырнул и вытащил меня.

— Напрасно сделал. Не надо было вытаскивать! — сожалеюще сказал Лопахин.

— Напрасно не напрасно, а вытащили. Ты бы, конечно, не вытащил, от тебя жди добра! Только потому я теперь и норовлю подальше от этих подручных средств держаться. Лучше уж под огнем, да по мосту. Потому и подпирает мне под дыхало, как только вспомню, сколько я тогда донецкой водички нахлебался... Ведра два выпил за один прием, насилу опорожнился тогда от этой воды...

— Не скули, Сашка, помолчи хоть немного, как-нибудь на этот раз переправишься, — обнадежил Лопахин.

— Как же я переправлюсь? — в отчаянии воскликнул Копытовский.— Оглох ты, что ли? Все время тебе толкую, что плавать вовсе не могу, ну, как я переправлюсь? А тут еще ты этих чертей, патронов, насовал мне в мешок пуда два, да еще ружье Борзых у меня, да скатка, да автомат с дисками, да шанцевый инструмент в лице лопатки, да сапоги на мне... Умеючи плавать и то с таким имуществом надо тонуть, а не умеючи, как я, просто за милую душу: заброди по колено в воду, ложись и помирай на сухом берегу. Нет, мне тонуть надо непременно, уж это я знаю! Вот только за каким я чертом патроны и всю остальную муру несу, мучаюсь напоследок перед смертью — не понимаю! Подойдем к Дону — брошу все это к черту, сыму штаны и буду утопать голый. Голому все как-то приятней...

— Замолчи, пожалуйста, не утонешь ты! Навоз не тонет, — яростным шепотом сказал Лопахин.

Но Копытовский тотчас же отозвался:

— Ясное дело, что навоз не тонет, и ты, Лопахин, переплывешь в первую очередь, а мне — каюк!.. Как только дойдем до Дона — безопасную бритву подарю тебе на память... Я не такой перец, как ты, я зла не помню... Брейся

**Кадр из кинофильма «Они сражались за Родину»**

моей бритвой на здоровье и вспоминай геройски утопшего Александра Копытовского.

— Уродится же этакая ягодка на свете! — сквозь зубы пробормотал Лопахин и прибавил шагу.

Переругиваясь вполголоса, по щиколотку увязая в песке, они спустились с песчаного холма, увидели в просветах между кустами тускло блеснувшую свинцово-серую полосу Дона, причаленные к берегу темные плоты и большую группу людей на песчаной косе.

— Дари бритву, Сашка! Слышишь ты, утопленник? — сурово сказал Лопахин.

Но Копытовский счастливо и глупо захохотал.

— Нет, миленький, теперь она мне самому сгодится! Теперь я опять живой! Плот увидал — и как заново на свет народился!

— Ты, Лопахин? — окликнул их из темноты старшина Поприщенко.

— Я,— нехотя отозвался Лопахин.

Старшина отделился от стоявшей возле плота группы, пошел навстречу, с хрустом дробя сапогами мелкие речные ракушки. Он подошел к Лопахину в упор, сказал дрогнувшим голосом:

— Не донесли... умер лейтенант.

Лопахин положил на землю ружье, медленным движением снял каску. Они стояли молча. Прямо в лицо им дул теплый, дышащий пресной влагой ветер.

Ночью шел дождь, порывами бил сырой, пронизывающий ветер, и глухо, протяжно стонали высокие тополи левобережной, лесистой стороны Дона. Насквозь промокший и продрогший, Лопахин жался к безмятежно храпевшему Копытовскому, натягивал на голову тяжелую, пропитанную водой полу шинели, сквозь сон прислушивался к раскатам грома, звучавшего в сравнении с артиллерийской стрельбой по-домашнему мирно и необычайно добродушно.

С рассветом дождь прекратился. Пал густой

туман. Лопахин забылся тревожным и тяжелым сном, но вскоре его разбудили. Старшина поднял всех на ноги, охрипшим от кашля голосом сказал:

— Лейтенанта надо похоронить как полагается и идти, нечего нам тут без толку киселя месить.

На поляне возле дикой яблони с поникшими листьями, осыпанными слезинками дождя, Лопахин и еще один красноармеец, по фамилии Майборода, вырыли могилу. Когда сняли первые пласты земли, Майборода сказал:

— Смотри, какой дождь полоскал всю ночь, а земля и на четверть не промокла.

— Да, — сказал Лопахин.

И больше до конца работы они не обмолвились ни одним словом. Последнюю лопатку земли со дна готовой могилы выбросил Майборода. Он вытер ладонью покрытый испариной лоб, вздохнул.

— Ну, вот и отрыли нашему лейтенанту последний окопчик...

— Да, — снова сказал Лопахин.

— Теперь закурим? — спросил Майборода.

Лопахин отрицательно качнул головой. Желтое, измятое бессонницей лицо его вдруг сморщилось, и он отвернулся, но быстро овладел собой, твердым голосом сказал:

— Пойду старшине доложу, а ты... ты покури пока.

* * *

Старшина любил поговорить, Лопахин это знал и больше всего боялся, что у могилы лейтенанта, оскорбляя слух, кощунственно зазвучат пустые и ненужные, казенные слова. Он с тревогой и недоверием смотрел на старое, рыжеусое, с припухшими глазами лицо старшины, переводил взгляд на ремни и потрепанную полевую сумку лейтенанта, которую старшина осторожно прижимал к груди левой рукой.

Только вчера он, Лопахин, пил водку в окопе лейтенанта, всего лишь несколько часов назад,

и эта сумка и пропотевшие ремни портупеи плотно прилегали к горячему, ладному телу лейтенанта, а сейчас лежит это же тело у края могилы, неподвижное и как бы укороченное смертью, лежит мертвый лейтенант Голощеков, завернутый в окровавленную плащ-палатку, и не тают, не расползаются на бледном лице его капельки дождя; и вот уже подходит последняя минута прощания...

Лопахин вздрогнул, когда старшина хрипло и тихо заговорил:

— Товарищи бойцы, сынки мои, солдаты! Мы сегодня хороним нашего лейтенанта, последнего офицера, какой оставался у нас в полку. Он был тоже с Украины, только области он был соседней со мной, Днепропетровской. У него там, на Украине, мать-старуха осталась, жинка и трое мелких детишек, это я точно знаю... Он был хороший командир и товарищ, вы сами знаете, и не об этом я хочу сейчас сказать... Я хочу сказать возле этой дорогой могилы...

Старшина умолк, подыскивая нужные слова, и уже другим, чудесно окрепшим и исполненным большой внутренней силы голосом сказал:

— Глядите, сыны, какой великий туман кругом! Видите? Вот таким же туманом черное горе висит над народом, какой там, на Украине нашей, и в других местах под немцем остался! Это горе люди и ночью спят — не заспят, и днем через это горе белого света не видят... А мы об этом должны помнить всегда: и сейчас, когда товарища похороняем, и потом, когда, может быть, гармошка где-нибудь на привале будет возле нас играть. И мы всегда помним! Мы на восток шли, а глаза наши глядели на запад. Давайте туда и будем глядеть до тех пор, пока последний немец от наших рук не ляжет на нашей земле... Мы, сынки, отступали, но бились как полагается, вон сколько нас осталось — раз, два и обчелся.. Нам не стыдно добрым людям в глаза глядеть. Не стыдно... только и радости, что не стыдно, но и не легко!

От земли в гору нам глаза подымать пока рано. Рано подымать! А я так хочу, чтобы нам не стыдно было поглядеть в глаза сиротам нашего убитого товарища лейтенанта, чтобы не стыдно было поглядеть в глаза его матери и жене и чтобы могли мы им, когда свидимся, сказать честным голосом: «Мы идем кончать то, что начали вместе с вашим сыном и отцом, за что он — ваш дорогой человек — жизнь свою на Донщине отдал,— немца идем кончать, чтобы он выздох!» Нас потрепали, тут уж ничего не скажешь, потрепали-таки добре. Но я старый среди вас человек и старый солдат — слава богу, четвертую войну ломаю — и знаю, что живая кость мясом всегда обрастет. Обрастем и мы! Пополнится наш полк людями, и вскорости опять пойдем мы хоженой дорогой, назад, на заход солнца. Тяжелыми шагами пойдем... Такими тяжелыми, что у немца под ногами земля затрясется!

Старшина трудно, по-стариковски, преклонил одно колено и, нагнувшись над телом лейтенанта, сказал так тихо, что взволнованный Лопахин еле расслышал:

— Может, и вы, товарищ лейтенант, еще услышите нашу походку... Может, и до вашей могилки долетит ветер с Украины...

Двое бойцов соскочили в могилу, бережно приняли на руки негнущееся тело лейтенанта. Не подымаясь с колен, старшина бросил горсть песчаной земли и поднял руку.

Быстро вырос над могилой маленький песчаный холмик, отгремел троекратный ружейный салют, и, с удесятеренной и разгневанной силой продолжая его, загрохотала расположенная неподалеку гаубичная батарея.

* * *

Никогда еще не было у Лопахина так тяжело и горько на сердце, как в эти часы. Ища одиночества, он ушел в лес, лег под кустом. Мимо

медленно прошли Копытовский и еще один боец. Лопахин слышал, как, захлебываясь от восхищения и зависти, Копытовский говорил:

— ...новенькая дивизия, она недавно подошла сюда. Видал, какие ребята? Что штаны на них, что гимнастерки, что шинельки — все с иголки, все блестит! Нарядные, черти, ну, просто как женихи! А на себя глянул — батюшки светы! — как, скажи, я на собачьей свадьбе побывал, как, скажи, меня двадцать кобелей рвали! Одна штанина в трех местах располосованная, половина срама на виду, а зашить нечем, нитки все кончились. Гимнастерка на спине вся сопрела от пота, лентами ползет и уже на бредень стала похожа. Про обувку и говорить нечего,— левый сапог рот раззявил, и неизвестно, чего он просит, то ли телефонного провода на перевязку подошвы, то ли настоящей починки... А кормятся они как? Точно в санатории! Рыбу, глушенную бомбами, ловят в Дону; при мне в котел такого сазана завалили, что ахнешь! Живут, как на даче. Так, конечно, можно воевать. А побывали бы в таком переплете, как мы вчера, — сразу облиняли бы эти женихи!

Лопахин лежал, упершись локтями в рыхлую землю, устало думая о том, что теперь, пожалуй, остатки полка отправят в тыл на переформирование или на пополнение какой-либо новой части, что этак, чего доброго, придется надолго проститься с фронтом, да еще в такое время, когда немец осатанело прет к Волге и на фронте дорог каждый человек. Он представил себя с тощим «сидором» за плечами, уныло бредущим куда-то в неведомый тыл, а затем воображение подсказало ему и все остальное: скучная, лишенная боевых тревог и радостей жизнь в провинциальном городке, пресная жизнь запасника, учения за городом в выжженной солнцем степи, стрельбы по деревянным макетам танков и нудные наставления какого-нибудь бывалого лейтенанта, который по долгу службы и на него, Петра Лопахина, уже прошедшего все огни и воды и

медные трубы, будет смотреть, как на молодого лопоухого призывника... Лопахин с негодованием повертел головой, заерзал на месте. Нет, черт возьми, не для него эта тихая жизнь! Он предпочитает стрелять по настоящим немецким танкам, а не по каким-то там глупым макетам, и идти на запад, а не на восток, и — лишь на худой конец — постоять немного здесь, у Дона, перед новым наступлением. Да и что его может удерживать в части, где не осталось ни одного старого товарища? Стрельцова нет, и неизвестно, куда попадет он после госпиталя; только за один вчерашний день погибли Звягинцев, повар Лисиченко, Кочетыгов, сержант Никифоров, Борзых... Сколько их, боевых друзей, осталось навсегда лежать на широких просторах от Харькова до Дона! Они лежат на родной, поруганной врагом земле и безмолвно взывают об отмщении, а он, Лопахин, пойдет в тыл стрелять по фанерным танкам и учиться тому, что давно уже постиг на поле боя?!

Лопахин проворно вскочил на ноги, отряхнул с колен песок, пошел к старой землянке, где расположился старшина.

«Буду просить, чтоб оставили меня в действующей части. Кончен бал, никуда я отсюда не пойду!» — решил Лопахин, напрямик продираясь сквозь густые кусты шиповника.

Он прошел не больше двадцати шагов, когда вдруг услышал знакомый голос Стрельцова. Изумленный Лопахин, не веря самому себе, круто повернул в сторону, вышел на небольшую полянку и увидел стоявшего к нему спиной Стрельцова и еще трех незнакомых красноармейцев.

— Николай! — крикнул Лопахин, не помня себя от радости.

Красноармейцы выжидающе взглянули на Лопахина, а Стрельцов по-прежнему стоял, не оборачиваясь, и что-то громко говорил.

— Николай! Откуда ты, чертушка?! — снова крикнул Лопахин веселым, дрожащим от радости голосом.

Руки Стрельцова коснулся один из стоявших рядом с ним красноармейцев, и Стрельцов повернулся. На лице его разом вспыхнула горячая, просветленная улыбка, и он пошел навстречу Лопахину.

— Дружище, откуда же ты взялся? — еще издали прокричал Лопахин.

Стрельцов молча улыбался и, размахивая длинными руками, крупно, но не особенно уверенно шагал по поляне.

Они сошлись возле недавно отрытой щели с празднично желтыми отвалами свежей песчаной земли, крепко обнялись. Лопахин близко увидел черные, сияющие счастьем глаза Стрельцова, задыхаясь от волнения, сказал:

— Какого черта! Я тебе ору во всю глотку, а ты молчишь, в чем дело? Говори же, откуда ты, как? Почему ты здесь очутился?

Стрельцов с неподвижной, как бы застывшей улыбкой внимательно и напряженно смотрел на шевелящиеся губы Лопахина и наконец сказал, слегка заикаясь и необычно растягивая слова:

— Петька! До чего я рад — ты просто не поймешь!.. Я уже отчаялся разыскать кого-либо из вас... Тут столько нар-р-оду...

— Откуда же ты взялся? Тебя же в медсанбат отправили? — воскликнул Лопахин.

— И вдруг смотрю — он! Лопахин! А где же остальные?

— Да ты что, приоглох немного? — удивленно спросил Лопахин.

— Я вас со вчерашнего вечера ищу, все части обошел! Хотел на ту сторону переправиться, но один капитан-артиллерист сказал, что все оттуда отводится, — еще сильнее заикаясь, сияя черными глазами, проговорил Стрельцов.

Лопахин, все еще не осознавая того, что произошло с его другом, засмеялся, хлопнул Стрельцова по плечу.

— Э, братишечка, да ты основательно недослышишь! Вот у нас с тобой и получается, как в присказке: «Здорово, кума!» — «На рынке бы-

ла».— «Аль ты глуха?» — «Купила петуха». Да ты что, на самом деле недослышишь? — уже значительно громче спросил Лопахин.— И говоришь как-то неровно, заикаешься... Постой... Так это же у тебя после контузии? Вот оно что!

Лопахин густо побагровел от досады на самого себя и с острой болью взглянул в изменившееся, но по-прежнему улыбающееся лицо Стрельцова. А тот положил на плечо Лопахина вздрагивающую руку, мучительно, тяжело заикаясь, сказал:

— Давай присядем, Петя. Со мной трудно разговаривать, я после того случая с бомбой ничего не слышу. И вот... видишь, заикаться стал... Ты пиши, а я тебе буду отвечать.

Он присел возле щели, достал из нагрудного кармана засаленный блокнотик и карандаш. Лопахин выхватил у него из рук карандаш, быстро написал: «Понимаю, ты удрал из медсанбата?» Стрельцов заглянул ему через плечо, сказал:

— Ну, как сказать — удрал... Ушел — это вернее. Я говорил врачу, что уйду, как только мне станет полегче.

«За каким чертом? Тебе, дураку, лечиться надо!» — написал Лопахин и с такой яростью нажал на восклицательный знак, что сердечко карандаша сломалось.

Стрельцов прочитал и удивленно пожал плечами.

— Как же это — за каким чертом? Кровь из ушей у меня перестала идти, тошноты почти прекратились. Чего ради я там валялся бы? — Он мягко взял из рук Лопахина карандаш, достал перочинный ножик и, зачиняя карандаш, сдувая с колена крохотные стружки, сказал: — А потом я просто не мог там оставаться. Полк был в очень тяжелом положении, вас осталось немного... Как я мог не прийти? Вот я и пришел. Драться рядом с товарищами ведь можно и глухому, верно, Петя?

Гордость за человека, любовь и восхищение

заполнили сердце Лопахина. Ему хотелось обнять и расцеловать Стрельцова, но горло внезапно сжала горячая спазма, и он, стыдясь своих слез, отвернулся, торопливо достал кисет.

Низко опустив голову, Лопахин сворачивал папироску и уже почти совсем приготовил ее, как на бумагу упала большая светлая слеза, и бумага расползлась под пальцами Лопахина...

Но Лопахин был упрямый человек: он оторвал от старой, почерневшей на сгибах газеты новый листок, осторожно пересыпал в него табак и папироску все же свернул.

* * *

Очнулся Звягинцев от толчков и дикой боли, огнем разливавшейся по всему телу. Он с хрипом вздохнул, удушливо закашлялся — рот его был набит землей и пылью — и словно со стороны услышал свой тихий, захлебывающийся кашель и глубокий, исходивший из самого нутра стон.

Кругом рвались снаряды, мины. Разные по силе, по звуку удары сотрясали землю, с замирающим визгом и воем проносились осколки, где-то позади длинными очередями хлестал пулемет. От близких разрывов тугие волны горячего, пропахшего гарью воздуха прижимали к земле лежавшего плашмя Звягинцева, клубили и вихрили вокруг него прогорклую пыль. Все еще воспринимая все звуки боя так, будто они доносились до него откуда-то из неведомого далека, Звягинцев слегка пошевелился, удесятерив этим слабым движением жгучую боль, и только тогда до его помраченного сознания дошло, что он жив.

Уже боясь шевельнуться, лопатками, спиной, ногами ощущая, что гимнастерка и штаны обильно напитаны кровью и тяжело липнут к телу, Звягинцев понял, что жестоко изранен осколками и что боль, спеленавшая его с головы до ног,— от этого.

Он подавил готовый сорваться с губ стон, попробовал вытолкнуть языком изо рта мешавшую ему дышать клейкую грязь; на зубах заскрипел зернистый песок, и так оглушителен был этот скрежещущий звук, резкой болью отдавшийся в голове, так тошнотно-приторно ударил в ноздри запах собственной загустевшей крови, что он снова едва не лишился сознания. А потом сознание, как бы трепетавшее на тончайшей, могущей в любой миг оборваться ниточке, стало крепнуть, расти, и тогда он с запоздалым, остро вспыхнувшим страхом вспомнил, как когда-то, наверное, совсем недавно, выскочил из окопа, как увидел невдалеке бегущих прямо на него немцев и одного из них — коренастого, полусогнутого, с расстегнутым воротом измазанного глиной мундира, с вылезшими из орбит серыми глазами. Немец бежал, плотно сжав бледные губы, с сапом втягивая раздутыми ноздрями воздух, чуть выставив вперед левое плечо. Он на бегу пытался втолкнуть в гнездо автомата плоскую черную обойму, а Звягинцев, короткими, стремительными шагами сближаясь с ним, видел и серые глаза врага, осумасшедшевшие от азарта атаки, и тусклую пуговицу немецкого мундира, пониже которой вот-вот должен был с противно мягким, знакомым хрустом войти его штык, и белое, колеблющееся на бегу и кидающее скользящие блики жало штыка видел он в эти секунды... Тотчас же что-то сильно ударило его в спину и по ногам, коротко, как летний гром, прозвучал сзади трескучий разрыв, и он, Звягинцев, падая вниз лицом, в страшном последнем падении, когда уже нет сил, чтобы поднять руку и защитить от удара лицо, — понял, что это — все, конец...

С усилием Звягинцев поднял веки. Сквозь пыль, смешавшуюся со слезами и грязной коркой залепившую глаза, увидел клочок багрово-мутного неба, близко от щеки проплывавшие куда-то мимо причудливые сплетения былинок. Его волоком тащили по траве, очевидно, на плащ-

палатке, и к сухому и жесткому шороху травы присоединялось тяжелое, прерывистое дыхание человека, который полз впереди и с трудом, сантиметр за сантиметром, тащил за собой его отяжелевшее, безвольное тело.

Спустя немного, Звягинцев почувствовал, как вначале голова его, а затем и туловище сползают куда-то вниз. Он больно ударился плечом обо что-то твердое и снова мгновенно потерял сознание.

Вторично он очнулся, ощутив на лице прикосновение шероховатой маленькой руки. Влажной марлей ему осторожно прочистили рот и глаза, и он на миг увидел маленькую женскую руку и голубую пульсирующую жилку у белого запястья, затем к губам его приставили теплое, металлически пресное на вкус горлышко алюминиевой фляжки. Обжигая нёбо и гортань, тоненькой струйкой потекла водка. Он глотал ее мелкими, судорожно укороченными глотками, и уже после того, как фляжку мягко отняли от его губ, он еще раза три глотнул впустую, как теленок, которого оттолкнули от вымени, облизал пересохшие губы, открыл глаза.

Над ним склонилось бледное, даже под густым загаром веснушчатое лицо незнакомой девушки в вылинявшей пилотке, прикрывавшей спутанную копну огненно-рыжих кудрей. Лицо было явно дурненькое, простое, неказистое лицо курносой русской девушки, но такая глубокая сердечная ласка и тревога проглядывали в огрубевших чертах этого лица, такой извечной женской теплотой и состраданием светились девичьи серые, нестрогие глаза, что Звягинцеву показалось, что эти глаза так же нужны, хороши и необходимы, как сама жизнь, как раскинувшееся над ним бескрайнее голубое небо с грядой перистых тучек в вышине.

От радости, что жив и не покинут своими, от признательности, которую он не мог да, пожалуй, и не сумел бы выразить словами незнакомой девушке — санитарке чужой роты, у него корот-

ко и сладко защемило сердце, и он чуть слышно прошептал:

— Сестрица... родная... откуда же ты взялась?

Водка подкрепила Звягинцева. Блаженное тепло разлилось по его телу, на лбу мелким бисером выступила испарина, и даже боль в ранах будто бы занемела, утратив недавнюю злую остроту.

— Ты бы мне еще водочки, сестрица... — уже чуть громче сказал он, втайне удивляясь своему ребячески тонкому и слабому голосу.

— Какая там водочка! Нельзя тебе больше, никак нельзя, миленький! Пришел в себя — и хорошо. Огонь-то какой они ведут, ужас! Тут хоть бы как-нибудь дотянуть тебя до медсанроты, — жалобно сказала девушка.

Звягинцев слегка отвел в сторону левую руку, затем правую, странно непослушными пальцами ощупал под боком нагретую солнцем накладку и ствол винтовки, безуспешно попробовал пошевелить ногами и, стиснув от боли зубы, спросил:

— Слушай... куда меня поранило?

— Всего тебя... всему досталось!

— Ноги... ноги-то хоть целы или как? — глухо спросил уже готовый в душе ко всему самому худшему, но ни с чем не смирившийся Звягинцев.

— Целы, целы, миленький, только продырявлены немного. Ты не беспокойся и не разговаривай, вот доберемся до места, осмотрят тебя, перевяжут как следует, лечить начнут, наверное, отправят в тыловой госпиталь, и все будет в порядочке. Война любит порядочек...

Не все из того, что сказала она, дошло до Звягинцева.

— Всего, значит, испятнили? — переспросил он и, помолчав немного, горестно шепнул: — Сказала тоже... Какой же это порядочек?

Они лежали в глубокой воронке, на жестких грудах откуда-то из первородных глубин исторгнутой взрывом глинистой земли. С низким нарастающим воем над ними прошелестела

мина, и Звягинцев, ко всему, кроме своей боли, равнодушный, но все же краем глаза наблюдавший за девушкой, увидел, как она в ожидании близкого разрыва припала к земле, сжалась в комочек, зажмурилась и детским, трогательным в своей наивности движением закрыла грязной ладошкой глаза.

За короткие минуты просветления, вспышками озарявшего сознание, Звягинцев пока еще не успел по-настоящему осмыслить всей бедственности своего положения, не успел пожалеть себя, а девушку пожалел, сокрушенно думая: «Дите, совсем дите! Ей бы дома с книжками в десятый класс бегать, всякую алгебру с арифметикой учить, а она тут под невыносимым огнем страсть терпит, надрывает животишко, таская нашего брата...»

Огонь как будто стал утихать, и чем реже гремели взрывы, мощными голосами будившие Звягинцева к жизни, тем слабее становился он и тем сильнее охватывало его темное, нехорошее спокойствие, бездумность смертного забытья...

Девушка наклонилась над ним, заглянула в его одичавшие от боли, уже почти потусторонние глаза и, словно отвечая на немую жалобу, застывшую в глазах, в горьких складках возле рта, требовательно и испуганно воскликнула:

— Миленький, потерпи! Миленький, потерпи, пожалуйста! Сейчас двинемся дальше, тут уже недалеко осталось! Слышишь, ты?!

С величайшим трудом она вытащила его из воронки. Он очнулся, попытался помочь, подтягиваясь на руках, цепляясь пальцами за сухую, колючую траву, но боль стала совершенно нестерпимой, и он прижался мокрой от слез щекой к мокрой от крови плащ-палатке и стал жевать зубами рукав гимнастерки, чтобы не оказать перед девушкой своей мужской слабости, чтобы не закричать от боли, которая, казалось, рвет на части его обескровленное и все же жестоко страдающее тело.

В нескольких метрах от воронки девушка выпустила из потной занемевшей руки угол плащ-палатки, перевела хриплое дыхание, неожиданно проговорила плачущим голосом:

— Господи, и зачем это берут таких обломов в армию? Ну зачем, спрашивается? Ну разве я дотащу тебя, такого мерина? Ведь в тебе, миленький, верных шесть пудов!

Звягинцев разжал зубы, прохрипел:

— Девяносто три...

— Что — девяносто три? Чего это ты? — спросила девушка, шумно дыша.

— Килограммов столько во мне было... до войны. Теперь меньше, — помолчав и прислушиваясь к бурному дыханию санитарки, сказал Звягинцев.

Ему почему-то снова стало жаль эту небольшую, выбивавшуюся из последних сил девушку, и он сначала отвлеченно подумал: «Вот и моя Наташка лет через шесть такая же будет: дурненькая с лица, а сердцем ласковая...» — а потом, напрасно стараясь придать своему голосу твердость и привычную мужскую властность, с передышками проговорил:

— Ты вот что, дочка... ты брось меня, не мучайся... Я сам... Вот полежу малость и сам попробую... Руки целы — долезу как-нибудь!

— Вот еще глупости какие! И к чему вы, мужчины, всегда всякую ерунду говорите,— сердитым шепотом сказала девушка.— Куда ты годен? Ну куда? Это я только так, устала немного, а как только отдохну — снова тронемся. Я еще и не таких тяжелых вытаскивала, будь спокоен! У меня всякие случаи бывали, даже похлестче этого! Ты не смотри, что я с виду маленькая, я сильная...

Она еще что-то говорила бодрящее и немножко хвастливое, но Звягинцев, как ни старался, слов уже не различал. Милый девичий голос стал глохнуть, удаляться и, наконец, исчез. Звягинцев снова впал в беспамятство.

Пришел в себя он уже много часов спустя на левой стороне Дона в медсанбате. Он лежал на

носилках и первое, что почувствовал, — острый запах лекарств, спирта, а затем увидел низкий зеленый купол просторной палатки, людей в белых халатах, мягко двигающихся по застланному брезентом земляному полу.

«До трех раз память мне отбивало, а я все-таки живой... Значит, выживу, значит, погодим пока помирать», — с растущей надеждой подумал Звягинцев.

Ему почему-то трудно было дышать, и он с опаской, медленно поднес ко рту черную от грязи руку, сплюнул. Слюна была белая. Ни единого розового пузырька на ладони. И Звягинцев повеселел и окончательно убедился в том, что теперь, пожалуй, все для него сойдет благополучно. «Легкие целые, по всему видать, а если через спину какой осколок в печенки попал, — его доктора щипцами вытянут. У них тут небось разного шанцевого инструмента в достатке. Главное — как с ногами? Тронуло кости или нет? Буду ходить или — калека?» — думал он, еще раз внимательно и придирчиво разглядывая слюну на большущей, одубевшей от мозолей ладони.

Рядом с ним два санитара раздевали раненого красноармейца. Один поддерживал раненого под руки, второй, бережно касаясь толстыми пальцами, осторожно распарывал ножницами по шву залитые бурыми подтеками штаны, и, когда на пол бесформенной грудой сползли жесткие, как брезент, покоробившиеся от засохшей крови защитные штаны и бязевые кальсоны, насквозь пропыленные и по цвету почти не отличавшиеся от верхней одежды, Звягинцев увидел на правой ноге красноармейца чуть пониже бедра огромную рваную рану, уродливо выпиравшую из красного месива, ослепительно белую, расколотую кость.

Красноармеец, чем-то неуловимо напоминавший Стрельцова, немолодой мужчина с тронутыми сединой усами над ввалившимся ртом и острыми, одетыми голубоватой бледностью скулами, держался мужественно, не проронил ни

одного слова и все время смотрел в одну точку отрешенным, нездешним взглядом, но Звягинцев глянул на его левую ногу, беспомощно полусогнутую в колене, худую и волосатую, дрожавшую мелкой лихорадочной дрожью, и, не в силах больше смотреть на чужое страдание, отвернулся, проворно закрыл глаза .

«Этот парень отходил свое. Оттяпают ему доктора ножку, оттяпают, как пить дать, а я еще похожу. Не может быть, чтобы и у меня ноги были перебитые?» — в тоскливом ожидании думал Звягинцев.

В это время пожилой лысый санитар в очках подошел к нему, наметанным глазом скользнул по ногам и, нагнувшись, хотел разрезать голенище сапога, но Звягинцев, молчаливо следивший за ним напряженным и острым взглядом, собрал все силы, тихо, но решительно сказал:

— Штаны пори, не жалко, а сапоги не трогай, не разрешаю. Я в них и месяца не проходил, и они мне нелегко достались. Видишь, из какого они товару? Подошва спиртовая, и вытяжки настоящие, говяжьи. Это, брат, не кирзовый товар, это понимать надо... Я и так богом обиженный: шинель-то и вещевой мешок в окопе остались... Так что сапог не касайся, понятно?

— Ты мне не указывай, — равнодушно сказал санитар, примеряясь, как бы половчее полоснуть вдоль шва ножом.

— То есть как это — не указывай? Сапоги-то мои? — возмутился Звягинцев.

Санитар слегка распрямил спину, все так же равнодушно сказал:

— Ну и что, как твои? Бывшие твои, и не могу же я их вместе с твоими ногами стягивать?

— Слушай ты, чудак, тяни... тяни осторожненько, полегонечку, я стерплю, — приказал Звягинцев, все еще боясь пошевелиться и от мучительного ожидания новой боли расширенными глазами уставившись в потолок.

Не обращая внимания на его слова, санитар наклонился, ловким движением распорол голе-

нище до самого задника, принялся за второй сапог. Звягинцев еще не успел как следует обдумать, что означают слова «бывшие твои», как уже услышал легкий веселый треск распарываемой дратвы. У него сжалось сердце, захватило дыхание, когда мягко стукнули каблуки его небрежно отброшенных к стенке сапог. И тут он, не выдержав, сказал дрогнувшим от гнева голосом:

— Сука ты плешивая! Черт лысый, поганый! Что же это ты делаешь, паразит?

— Молчи, молчи, сделано уже. Тебе вредно ругаться. Давай-ка я тебе помогу на бок лечь, — примирительно проговорил санитар.

— Иди ты со своей помощью, откуда родился и даже еще дальше! — задыхаясь от негодования и бессильной злобы, сказал Звягинцев.— Вредитель ты, верблюд облезлый, чума в очках! Что ты с казенными сапогами сделал, сукин сын? А если мне их к осени опять носить придется, что я тогда с поротыми голенищами буду делать? Слезами плакать? Ты понимаешь, что обратно, как ты их ни сшивай, они все равно будут по шву протекать? Стерва ты плешивая, коросточная! Враг народа, вот ты кто есть такой!

Санитар молча и очень осторожно разматывал на ногах Звягинцева мокрые от пота и крови, горячие, дымящиеся портянки; сняв вторую, разогнул сутулую спину и, не тая улыбки под рыжими усами, спросил веселым, чуть хрипловатым фельдфебельским баском:

— Кончил ругаться, Илья Муромец?

Звягинцев ослабел от вспышки гнева. Он лежал молча, чувствуя сильные и частые удары сердца, необоримую тяжесть во всем теле и в то же время ощущая натертыми подошвами ног приятный холодок. Но в нем все же еще нашлись силы, и, не зная, как еще можно уязвить смертельно досадившего ему санитара, он слабым голосом, выбирая слова, проговорил:

— Сухое дерево ты, а не человек! Даже не дерево ты, а гнилой пенек! Ну, есть ли в тебе ум?

А еще тоже — пожилой человек, постыдился бы за свои такие поступки! У тебя в хозяйстве до войны небось одна земляная жаба под порогом жила, да и та небось с голоду подыхала... Уходи с моих глаз долой, торопыга ты несчастная, лихорадка об двух ногах!

Это был, конечно, непорядок: строгая тишина медсанбатовской раздевалки, обычно прерываемая одними лишь стонами и всхлипами, редко нарушалась такой несусветной бранью, но санитар смотрел на заросшее рыжей щетиной, осунувшееся лицо Звягинцева с явным удовольствием и к тому же еще улыбался в усы мягко и беззлобно. За восемь месяцев войны санитар измучился, постарел душой и телом, видя во множестве людские страдания, постарел, но не зачерствел сердцем. Он много видел раненых и умирающих бойцов и командиров, так много, что впору бы и достаточно, но он все же предпочитал эту сыпавшуюся ему на голову ругань безумно расширенным, немигающим глазам пораженных шоком, и теперь вдруг и некстати вспомнил двух своих сыновей, воюющих где-то на Западном фронте, с легким вздохом подумал: «Этот выживет, вон какой ретивый и живучий черт! А как мои ребятишки там? Провались ты пропадом с такой жизнью, глянуть бы хоть одним глазом, как мои там службу скоблят? Живы или, может, вот так же лежат где-нибудь, разделанные на клочки?»

А Звягинцев уже не только жил, но и цеплялся за жизнь руками и зубами; все еще лежа на носилках, смертельно бледный, с закрытыми, опоясанными синевой глазами, он думал, вспоминая свои безвозвратно погибшие сапоги и красноармейца с перебитой ногой, которого только что унесли в операционную: «Эк его, беднягу, садануло! Не иначе крупным осколком. Вся кость наружу вылезла, а он молчит... Молчит, как герой! Его дело, конечно, табак, но я-то должен же выскочить? У меня вон даже пальцы на ногах боль чувствуют. Лишь бы, по докторскому недо-

разумению, в спешке не отняли ног! А так я еще отлежусь и повоюю... Может, еще и этот немец-минометчик, какой меня сподобил, попадется мне под веселую руку... Ох, не дал бы я ему сразу помереть! Нет, он у меня в руках еще поикал бы несколько минут, пока я к нему смерть бы допустил! А этому парню, ясное дело, отрежут ногу. Ему, конечно, на черта нужны теперь сапоги! Он об них и думать позабыл, а мое дело другое: мне по выздоровлении непременно в часть надо идти, а таких сапог теперь я в жизни не найду, шабаш! И как он скоро, лысая курва, распустил их по швам! Господи боже мой, и таких стервецов в санитары берут! Ему с его хваткой где-нибудь на живодерне работать, а он тут своим родным бойцам обувку портит....»

История с сапогами всерьез расстроила Звягинцева, окончательно утвердившегося в мысли, что до смерти ему еще далеко. И до того было ему обидно, что он, добродушный, незлобивый человек, уже голым лежа на операционном столе, на слова осматривавшего его хирурга: «Придется потерпеть немного, браток», — сердито буркнул: «Больше терпел, чего уж тут разговоры разговаривать. Вы по недогляду чего-нибудь лишнего у меня не отрежьте, а то ведь на вас только понадейся...» У хирурга было молодое осунувшееся лицо. За стеклами очков в роговой оправе Звягинцев увидел припухшие от бессонных ночей красные веки и внимательные, но бесконечно усталые глаза.

— Ну, раз больше терпел, солдат, то это и вовсе должен вытерпеть, а лишнего не отрежем, не беспокойся, нам твоего не надо, — все так же мягко сказал хирург.

Молодая женщина-врач, стоявшая с другой стороны стола, сдвинув брови, наклонившись, внимательно осматривала изорванную осколками спину Звягинцева, располосованную до ноги ягодицу. Кося на нее глазами, стыдясь за свою наготу, Звягинцев страдальчески сморщился, проговорил:

— Господи боже мой! И что вы на меня так упорно смотрите, товарищ женщина? Что вы, голых мужиков не видали, что ли? Ничего во мне особенного такого любопытного нету, и тут, скажем, не Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, и я, то же самое, не бык-производитель с этой выставки.

Женщина-врач блеснула глазами, резко сказала:

— Я не собираюсь любоваться вашими прелестями, а делаю свое дело. И вам, товарищ, лучше помолчать! Лежите и не разговаривайте. Удивительно недисциплинированный вы боец!

Она фыркнула и встала вполоборота. А Звягинцев, глядя на ее порозовевшие щеки и округлившиеся, злые, как у кошки, глаза, горестно подумал: «Вот так и свяжись с этими бабами, ты по ней одиночный выстрел, она по тебе длинную очередь... Но, между прочим, у них тоже нелегкая работенка: день и ночь в говядине нашей ковыряться».

Устыдившись, что так грубо говорил с врачами, он уже другим, просительным и мирным, тоном сказал:

— Вы бы, товарищ военный доктор,— за халатом не видно вашего ранга,— спиртку приказали мне во внутренность дать.

Ему ответили молчанием. Тогда Звягинцев умоляюще посмотрел снизу вверх на доктора в очках и тихо, чтобы не слышала отвернувшаяся в сторону строгая женщина-врач, прошептал:

— Извиняюсь, конечно, за свою просьбу, товарищ доктор, но такая боль, что впору хоть конец завязывать...

Хирург чуть-чуть улыбнулся, сказал:

— Вот это уже другой разговор! Это мне больше нравится. Подожди немного, осмотрим тебя, а тогда видно будет. Если можно — не возражаю, дам грамм сто фронтовых.

— Тут не фронт, тут от фронта далеко, тут можно и больше при таком страдании выпить, —

намекающе сказал Звягинцев и мечтательно прищурил глаза.

Но когда что-то острое вошло в его промытую спиртом, пощипывающую рану возле лопатки, он весь сжался, зашипел от боли, сказал уже не прежним мирным и просительным тоном, а угрожающе и хрипло:

— Но-но, вы полегче... на поворотах!

— Эка, брат, до чего же ты злой! Что ты на меня шипишь, как гусь на собаку? Сестра, спирту, ваты! Я же предупреждал тебя, что придется немного потерпеть, в чем же дело? Характер у тебя скверный или что?

— А что же вы, товарищ доктор, роетесь в живом теле, как в своем кармане? Тут, извините, не то что зашипишь, а и по-собачьи загавкаешь... с подвывом,— сердито, с долгими паузами проговорил Звягинцев.

— Что, неужто очень больно? Терпеть-то можно?

— Не больно, а щекотно, а я с детства щекотки боюсь... Потому и не вытерпливаю... — сквозь стиснутые зубы процедил Звягинцев, отворачиваясь в сторону, стараясь краем простыни незаметно стереть слезы, катившиеся по щекам.

— Терпи, терпи, гвардеец! Тебе же лучше будет,— успокаивающе проговорил хирург.

— Вы бы мне хоть какого-нибудь порошка усыпительного дали, ну чего вы скупитесь на лекарства? — невнятно прошептал Звягинцев.

Но хирург сказал что-то коротко, властно, и Звягинцев, за время войны привыкший к коротким командам и властному тону, покорно умолк и стал терпеть, иногда погружаясь в тяжкое забытье, но даже и сквозь это забытье испытывал такое ощущение, будто голое тело его ненасытно лижет злое пламя, лижет, добираясь до самых костей...

Чьи-то мягкие, наверное, женские пальцы неотрывно держали его за кисть руки, он все время чувствовал благодатную теплоту этих пальцев, потом ему дали немного водки, а под ко-

нец он уже захмелел, и не столько от водки,— не мог же он захмелеть от каких-то там несчастных ста граммов спиртного! — сколько от всего того, что испытал за весь этот на редкость трудный день. Но под конец и боль уже стала какая-то иная, усмиренная, тихая, как бы взнузданная умелыми и умными руками хирурга.

Когда забинтованного, не чувствующего тяжести своего тела Звягинцева снова несли на ритмически покачивающихся носилках, он даже пытался размахивать здоровой правой рукой и тихо, так тихо, что его слышали только одни санитары, говорил, а ему казалось, что он кричит во весь голос:

— ...Не желаю быть в этом учреждении! К чертовой матери! У меня тут нервы не выдерживают. Давай, куда хочешь, только не сюда! На фронт? Давай обратно, на фронт, а тут — не согласен! Сапоги куда дели? Неси сюда, я их под голову положу. Так они будут сохранней... До чужих сапог вас тут много охотников! Нет, ты сначала заслужи их, ты в них походи возле смерти, а изрезать всякий дурак сумеет... Господи боже мой, как мне больно!..

Он еще что-то бормотал, уже несвязное, бредовое, звал Лопахина, плакал и скрипел зубами, как в темную воду, окунаясь в беспамятство. А хирург тем временем стоял, вцепившись обеими руками в край белого, будто красным вином залитого стола, и качался, переступая с носков на каблуки. Он спал... И только когда товарищ его — большой чернобородый доктор, только что закончивший за соседним столом сложную полостную операцию,— стянув с рук мягко всхлипнувшие, мокрые от крови перчатки, негромко сказал: «Ну, как ваш богатырь, Николай Петрович? Выживет?» — молодой хирург очнулся, разжал руки, сжимавшие край стола, привычным жестом поправил очки и таким же деловитым, но немного охрипшим голосом ответил:

— Безусловно. Пока ничего страшного нет.

Этот должен не только жить, но и воевать. Черт знает, до чего здоров, знаете ли, даже завидно... Но сейчас отправлять его нельзя: ранка одна у него мне что-то не нравится. Надо немного выждать.

Он замолчал, и еще несколько раз качнулся, переступая с носков на каблуки, всеми силами борясь с чрезмерной усталостью и сном, а когда к нему вернулись и сознание и воля, он опять стал лицом к завешенной защитным пологом двери палатки и, глядя такими же, как и полчаса тому назад, внимательными, воспаленными и бесконечно усталыми глазами, сухо сказал:

— Евстигнеев, следующего!

* * *

По лесу веером легли и гулко захлопали разрывы мин. За кустами неподалеку от Лопахина кто-то равнодушно, с протяжной зевотцей проговорил:

— Пристреливается, паразит! Ну, теперь он начнет швырять и песок месить минами, пока весь лес не прочешет. Он — такой, он, гад, лишнего кинуть не постесняется...

Но огонь вскоре утих, лишь вдали сухо и зло трещали короткие автоматные очереди, да с той стороны Дона, против разрушенного бомбежкой места, как бы прощупывая обманчивую тишину леса, с ровными промежутками бил немецкий пулемет.

Потом пулемет умолк, и в наступившем затишье отчетливей зазвучали иные голоса войны: приглушенный расстоянием, протяжный гром артиллерийской стрельбы, раскатисто и неумолчно гремевший где-то далеко на востоке, прерывистый рокот самолета — дальнего разведчика, ворковавшего на недоступной глазу высоте, и ровный басовитый гул множества немецких танков и автомашин, двигавшихся по

правому гористому берегу Дона в направлении на станицу Клетскую.

Над вершинами дальних тополей, чуть колеблемая ветром, вся пронизанная косыми солнечными лучами, волновалась тончайшая сиреневая дымка тумана. На дремотно склонившихся кистях белой медвянки, на розовых цветах шиповника, как блестки рассыпанной радуги, ослепительно искрились и сияли капельки росы.

Любуясь помолодевшим после ночного дождя лесом, Стрельцов задумчиво сказал:

— Красота-то какая, а?

Лопахин покосился на приятеля, но ничего не ответил. Стиснув зубы, устремив немигающий взгляд воспаленных глаз туда, где за меловым бугром правобережья бурой, зловещей тучей вставала пыль, он молча вслушивался в издавна знакомые, грозные шумы большого наступления.

Лопахин тоже любил природу — и любил ее так, как только может любить человек, долгие годы жизни проведший в тяжелом труде под землей. Иногда даже в окопах, в короткие промежутки затишья, он успевал полюбоваться то белым, как лебедь, облаком, величественно проплывавшим в задымленном фронтовом небе, то каким-нибудь полевым цветком, доверчиво приютившимся на краю старой воронки и казавшимся рядом с грудами мертвой опаленной земли бессмертным в своей первобытной красоте...

Но сейчас Лопахин не видел ни пленительного очарования омытого дождем леса, ни печальной прелести доцветающего неподалеку шиповника. Не видел ничего, кроме пыли, вздыбленной вражескими машинами, медленно тянувшейся на запад.

Там, на западе, в синеющих степях Придонья, полегли его убитые в боях товарищи, далеко на западе остались родной город, семья, крохотный отцовский домик и чахлые клены, посаженные руками отца, круглый год припудренные угольной пылью, жалкие на вид, но неизменно радо-

вавшие глаз, когда по утрам они с отцом, бывало, уходили на шахту. Все, что было в жизни дорого и мило сердцу, все осталось там, под властью немцев... И снова, в который уже раз за время войны. Лопахин ощутил вдруг тот удушающий приступ немой ненависти к врагу, когда даже ругательное слово не в силах вырваться из мгновенно пересыхающего горла. Так бывало с ним иногда в бою. Но тогда он видел вражеских солдат и эти проклятые темно-серые танки с крестами на броне, и не только видел, но и уничтожал их огнем своего оружия. Тогда ненависть, мертвой хваткой бравшая его за горло, находила выход в бою. А сейчас? Сейчас он — только праздный зритель, солдат разгромленной части, в бессильной ярости издали наблюдающий за тем, как победно пылят по его земле враги и неудержимо движутся все дальше на восток, все дальше...

Лопахин выхватил из рук Стрельцова блокнот, торопливо написал: «Николай, я в тыл не пойду. Дела наши, по всему видать, дрянь. Не могу я сейчас отсюда уходить! Думаю остаться на передовой, прибьюсь к какой-нибудь части. Оставайся и ты со мной, Коля!»

Стрельцов прочитал и, почти не заикаясь, но и не делая пауз, проговорил:

— Я сам того же мнения. Я для того сюда и пришел. Вот только старшина как? Отпустит он тебя? Что-то я сомневаюсь... Мне проще: я пока за медсанбатом числюсь.

— Да я что же, на побывку к жене прошусь? Как это он меня не отпустит? Хотел бы я поглядеть на эту кинокартину, как он будет меня не пускать!— возмущенно сказал Лопахин, на минуту позабыв о том, что Стрельцов не слышит, но, глянув в лицо друга, внимательное и исполненное, как у глухонемого, напряженного и пытливого выжидания, с досадою умолк, размашисто написал «пустит» и поставил в ряд несколько восклицательных знаков столь внушительного размера, что, казалось, один вид их

должен был бы рассеять всякие сомнения Стрельцова.

На вершине раскидистого ясеня робко, неуверенно закуковала кукушка. Закуковала и смолкла, словно убедившись в том, что неуместно звучит ее раздумчивый и немножко грустный голос в этом лесу, заполненном вооруженными людьми и обвальными раскатами доплывавшей издали артиллерийской стрельбы. И почти тотчас же Лопахин услышал самоуверенный, противный до тошноты голос Копытовского:

— Ужасно умная птица кукушка! До Петрова дня она тебе и кукует и шкварчит так приятно, будто сало на сковородке, а после хоть не проси — как ножом отрежет. Это я сейчас на нее загадал: сколько проживу на свете? А она, проклятая, два раза крикнула и подавилась. Тоже, раздобрилась, паскуда длиннохвостая! Но, между прочим, я на нее не в обиде: выходит так, что два года могу смело воевать, ни черта не убьют? Очень даже прекрасно! Мне больше ничего и не надо. За два года должна же война прикончиться? Должна. Ну, а после войны я на эту задрипанную кукушку не посмотрю и буду жить, сколько мне влезет. Очень даже просто!

— Ловко у тебя, паречь, получается! — восхищенно сказал простуженным баском автоматчик Павел Некрасов.— Значит, сейчас ты веришь кукушке, а после войны побоку ее предсказания?

— А ты как хотел? — рассудительно ответил Копытовский.— Мне, милый мой, утешение только теперь нужно, а после войны я как-нибудь и без утешениев проживу, своими силами...

Шагнув из-за куста, Копытовский увидел Стрельцова и в изумлении широко раскрыл глаза. На круглом, мясистом лице его расплылась недоумевающая, глупая улыбка. Он шлепнул себя по голой ляжке, как раз в том месте, где причудливо изорванная штанина спускалась от пояса до самого колена, громко воскликнул:

— Стрельцов? Вот это номер!..

А пожилой и флегматичный от природы Не-

красов, не снимая рук с висевшего на шее автомата, сказал так, будто они со Стрельцовым расстались всего лишь полчаса назад:

— Вернулся, Николай? Вот и хорошо. А то уж больно негусто нас тут осталось. За эти дни процедил нас чертов немец, просеял, как на частое сито.

О чем-то глубоко задумавшись, низко опустив голову, Стрельцов смотрел в землю, проводил по усам сложенными в щепоть пальцами левой руки и не видел подошедших товарищей.

Лопахин бегло взглянул на его тихо подергивающуюся голову, на руку, дрожащую мелкой, старческой дрожью, и, почти с ненавистью воззрившись в пышущее здоровьем лицо Копытовского, сказал:

— Не ори! Все равно он не слышит. Оглох.

— Вовсе не слышит? — еще более удивился Копытовский и снова хлопнул себя по ляжке.

— Не слышит. Дальше что? — медленно багровея, повысил Лопахин голос.— Что ты тут по своему голому мясу шлепаешь, как в театре? Тоже мне, артист нашелся! Он контужен, и нечего тут удивляться и всякие балеты разыгрывать! Вон лучше бы штаны залатал, щеголь, а то ходишь, как святой в раю, срамом отсвечиваешь...

— Запекли тебе душу мои штаны! — обиженно проговорил Копытовский.— В какой раз ты мне про них замечание делаешь? Надоел уже! И как их станешь латать, когда не за что хватать? Ты погляди серьезней, что от них осталось-то, от штанов! В целости спереди одна мотня, сзади — хлястик, а все остальное сопрело и сквозь пальцы бредет. Тут поневоле святым сделаешься и даже еще хуже... И ниток нету. Нитки теперь с военторговской палаткой, знаешь, где? Небось аж за Саратовом пылят, а ты знай одно долбишь: залатал бы, залатал бы!

Некрасов положил руку на плечо Стрельцова, громко сказал:

— Николай, здравствуй!

Стрельцов резко вздрогнул, вскинул голову, нахмурился, но сейчас же под черными усами его блеснули в улыбке белые неровные зубы. Он раскрыл рот, пытаясь что-то сказать, напряженно вытягивая шею, подергивая головой. Заросший мелким черным волосом, кадык его редко и крупно вздрагивал, неясные, хриплые звуки бились и клокотали в горле.

У Лопахина мучительно сжалось сердце. Как всегда в минуты сильного душевного волнения, у него побелели ноздри, и он, вдруг уставившись на Копытовского округлившимися от бешенства глазами, заорал:

— Убери свои моргалки! Что ты на него вылупился? Он оглох и заикается! Не гляди на него! Ведь ему тяжело, понимаешь ты это? Отвернись же, черт рваный!..

Копытовский растерянно пожал плечами.

— Я же этого дела не знал... И чего ты разорался, Лопахин? Тебе с твоей глоткой только подсолнушки на базаре продавать, товар свой расхваливать... Грубый ты, прямо нахальный человек, а еще тоже, на шахте работал, на вечерний рабфак ходил. В тебе культурности — с гулькин нос, вот столечко!

Возмущенный Копытовский ногтем отметил на кончике мизинца, сколько, по его мнению, было культурности в Лопахине. Но тот не обращал на него никакого внимания. Вцепившись руками в траву, ерзая от нетерпения по песку, он томительно ждал, когда же Стрельцов выдавит из себя первое слово. Он даже слегда порозовел от волнения.

Стрельцов, закрыв глаза с трепещущими от напряжения ресницами, кое-как произнес несколько слов приветствия, и тогда Лопахин вытер проступивший на лбу пот, со вздохом облегчения сказал:

— Главное, ему начать трудно, а потом, как разойдется, он говорит подходяще, не очень резко, но понять можно, что и к чему. Иной ора-

тор на собрании, и тот хуже говорит, даю честное слово!

С трудом овладев речью, виновато улыбаясь и пожимая руки товарищей, Стрельцов проговорил:

— Оглох я, ребята, и с языком у меня что-то не в порядке... Не повинуется... Но врач говорил, что это — временно... Я страшно рад, что снова с вами. Только пока со мной надо объясняться письменно... Вон мы с Лопахиным какую канцелярию тут развели,— и указал болезненно сощуренными, но улыбающимися глазами на исписанные листки блокнота.

Кряхтя и морщась от жалости, Некрасов снял автомат, присел рядом со Стрельцовым, сочувственно похлопал его по спине.

— Та-а-ак,— протяжно сказал он.— Отделали парня на совесть... Окалечили вовсе, вот сволочи, а?

На поляне легкий ветерок лениво шевелил траву, сушил на листьях деревьев последние дождевые капли. Пахло нагретым солнцем, шиповником, пресным запахом перестоявшейся на корню травы, а от распарившейся после дождя земли несло, как из дубового бочонка, терпкой горечью прелых прошлогодних листьев.

На правой стороне Дона гулко громыхнули взрывы, выше прибрежных тополей взметнулись в небо черные, медленно тающие на ветру столбы дыма.

— Машины со снарядами и с горючим рвутся. Гибнет понапрасну наше добро! — ни к кому не обращаясь, сокрушенно забормотал Копытовский.

Еще немного помолчали, а затем Некрасов спросил у Лопахина:

— Как думаешь, на переформировку теперь нас погонят, а?

Лопахин молча пожал плечами.

— Старшина пошел узнавать, куда нам теперь деваться, может, где поблизости наши окажутся. Кто-то из ребят говорил, будто видели

здесь в лесу начштаба тридцать четвертого. Пора бы и сматываться нам отсюда,— размеренно говорил Некрасов.— Люди оборону занимают, блиндажи ладят, ходы сообщения роют, каждый при деле, а мы лодыря корчим, болтаемся в лесу, только другим мешаем.

Лопахин упорно молчал. Некрасов перевел взгляд на Стрельцова и покачал головой.

— А Николай зря вернулся из санчасти. Напиши, что ему лечиться надо, а то он так и останется на всю жизнь заикой, так и будет до самой смерти головой, как козел, трясти.

— Я уже писал,— сухо ответил Лопахин.

— А он что?

— Остается тут.

— Это он самовольно притопал?

— А ты думал как?

— Эх, напрасно! Ты бы его уломал. Вы же с ним приятели.

— Пробовал.

— Ну и что?

— Не соглашается. Он нынешнюю обстановку понимает не так, как некоторые другие сукины сыны,— многозначительно сказал Лопахин.

— Скажи пожалуйста! — сквозь зубы процедил Некрасов, почтительно и в то же время немного иронически взглянув на Стрельцова.

Лопахин знал Некрасова давно. Они служили в одной части в тяжелые дни зимних боев на Харьковском направлении, после в составе одного пополнения пришли в этот полк. Они никогда не дружили и не сходились близко, может быть, по той причине, что Некрасов не отличался общительностью, но в бою на него всегда можно было положиться. Лопахин это твердо знал, а потому и сказал, испытующе глядя в бледно-голубые, словно бы выцветшие от усталости, глаза Некрасова:

— Мы со Стрельцовым так порешили: мы остаемся тут. Не такая сейчас погода, чтобы в тылу натираться. Вон куда он нас допятил, не-

мец... Стыд и ужас подумать, куда он нас допятил, сукин сын! Ты как, Некрасов, по старой дружбе не составишь компании? Один старый боец останется, да другой, да третий — ведь это же сила! По капле и река собирается. Мы тут нужнее, чем в другом месте, верно?

Копытовский с удивлением отметил про себя просительные нотки в голосе Лопахина. Но Некрасов, не колеблясь и не раздумывая, решительно ответил:

— Нет, не останусь. Пущай свеженькие повоюют, какие пороху не нюхали, пущай они горюшка лаптем похлебают, а я не против того, чтобы в тыл сходить. Пока полк переформируют, пока того да сего — я отдохну за мое почтение, хоть отосплюсь за все эти каторжные дни! У меня, понимаешь ты, последнее время даже посторонние вошки завелись. От тоски, что ли?

— От грязи. Купаешься раз в году,— негромко сказал Лопахин, с чрезмерным вниманием рассматривая выпуклые, панцирно-твердые миндалины ногтей на своих расслабленно лежавших на коленях руках.

— Может, и от грязи,— охотно согласился Некрасов.— А купаться, сам знаешь, некогда, не на курортах загораем, да и малярия мне не позволяет. Так вот я в тылу хоть вошек обтрясу маленько, на время в зятья пристану к какой-нибудь бабенке... К самой завалящей пристану, лишь бы у нее в хозяйстве корова была! Эх, и поживу же в свое удовольствие возле горшка со сметаной, покуражусь над варениками с творожком! Отдохну как полагается, а потом... потом и обратно можно на фронт, не возражаю...

Некрасов говорил, мечтательно прикрыв прищуренные глаза белесыми, выгоревшими на солнце ресницами, как-то по-особому вкусно причмокивая толстыми, вывернутыми губами. А Лопахин, вслушиваясь в его неторопливую речь, все выше поднимал косо изогнутую левую

бровь и под конец не выдержал, с наигранной веселостью воскликнул:

— Да ты, Некрасов, оказывается, чудак!

— Чудак не я, а баран: он до покрова матку сосет, и глаза у него круглые... А я какой же чудак? Нет, это ты по ошибке...

— Ну, тогда ты уже не чудак, а кое-что похуже...— проговорил Лопахин раздельно и с той зловещей сдержанностью, которая всегда у него предшествовала вспышке гнева.

— Какой есть, теперь не переделаешь, поздновато,— с легким выдохом ответил Некрасов.— И ничего тут чудного нету. Мне один парень из этой дивизии, какая оборону заняла, рассказывал: формировались они в городе Вольске, и там присватался он к одной гражданочке, а у той гражданочки муж ушел в армию, а в хозяйстве три дойные козы остались. Так, говорит, не житье ему было, а сплошная масленица! С того ли козьего молока или с какой другой причины, но только за месяц поправился он на шесть килограммов. Вот это я понимаю, оторвал парень! Все равно, как на курорте!

— Да ты, никак, вовсе очумел,— злобно сказал Лопахин.— Ты слышишь, ушибленный человек, где бой идет?

— Не глухой пока, слышу.

— Так о чем же ты говоришь? О каких зятьях? О каком отдыхе?

Лопахина прорвало, и он выругался, не переводя дыхания, так длинно и с такими непотребными и диковинными оборотами речи, что Некрасов, не дослушав до конца, вдруг блаженно заулыбался, закрыл глаза и склонил на правое плечо голову, словно упиваясь звуками сладчайшей музыки.

— Ах, язви тебя! До чего же ты складно выражаешься! — с восхищением, с нескрываемым восторгом сказал он, когда Лопахин, облегчившись, с силой втянул в себя воздух.

Недавнюю сонливую усталость с Некрасова будто рукой сняло, и он торопливо заговорил,

изредка с улыбкой поглядывая на Лопахина:

— Ну и силен же ты, браток! Уж на что в нашей роте в сорок первом году младший политрук Астахов был мастер на такие слова, до чего красноречив был, а все-таки куда ему до тебя! И близко не родня! Не удавались ему, покойничку, кое-какие коленца, не вытанцовывались они у него. А красноречив был, словоохотлив — спасу нет! Бывало, подымает нас в атаку, а мы лежим. И вот он повернется на бок, кричит: «Товарищи, вперед на проклятого врага! Бей фашистских гадов!» Мы обратно лежим, потому что фрицы такой огонь ведут,— ну не продыхнешь! Они же знают, стервы, что не мы, а смерть ихняя в ста саженях от них лежит, они же чуют, что нам вот-вот надо подыматься... И тут Астахов подползет ко мне или к какому другому бойцу, даже зубами заскрипит от злости: «Вставать думаешь или корни в землю пустил? Ты человек или сахарная свекла?» Да лежачи как ахнет по всем этажам и пристройкам! А голос у него был представительный, басовитый такой, с раскатцем... Тут уж вскакиваем мы, и тогда фрицам солоно приходится, как доберемся — мясо из них делаем!.. У Астахова всегда был при себе полный набор самых разных слов. И вот прослушаешь такое его художественное выступление, лежачи в грязи, под огнем, а потом мурашки у тебя по спине по-блошиному запрыгают, вскочишь и, словно ты только что четыреста грамм водки выпил,— бежишь к фрицевой траншее, не бежишь, учти, а на крыльях летишь! Ни холоду не сознаешь, ни страху, все позади осталось! А наш Астахов уже впереди маячит и гремит, как гром небесный: «Бей, ребята, так их и разэтак!» Ну как было с таким политруком не воевать? Он сам очень даже отлично в бою действовал и штыком и гранатой, а выражался еще лучше, с выдумкой, с красотой выражался! Речь начнет говорить, захочет — всю роту до слезы доведет жалостным словом, захочет дух поднять —

и все на животах от смеха ползают. Ужасный красноречивый был человек!

— Постой-ка, при чем тут красноречие? — попытался прервать Некрасова озадаченный Лопахин, но тот, увлеченный воспоминаниями, досадливо отмахнулся:

— Не перебивай, слушай дальше! Этого Астахова, ежели хочешь знать, все нации понимали и уважали, вот какой он был человек! Даром, что не кадровый, не шибко грамотный и из себя пожилой, а боевой был ужасный! Он еще за гражданскую войну орден Красного Знамени имел, так-то, браток! Но и любили же в роте этого Астахова — страсть! За смелость любили, за его душевность к бойцам, а главное — за откровенное красноречие. Когда похоронили его возле села Красный Кут, вся рота слезами умылась. Пожилые бойцы и те плакали, как малые дети. Все нации, какие в роте были, не говоря уже про нас, русских, подряд плакали и каждый на своем языке об нем сожалел. А ты, Лопахин, говоришь — при чем, дескать, тут красноречие. Нет, браток, красноречие при человеке — великое дело. И нужное слово, ежели оно вовремя сказано, всегда дорогу к сердцу найдет, я так понимаю.

Совершенно сбитый с толку, Лопахин слушал товарища, изумленно пожимая плечами, изредка поглядывая в недоумении то на Копытовского, то на дремавшего Стрельцова, и на лице его явно отражалось так несвойственное ему выражение растерянности. Он никак не предполагал, что его ругательство произведет такое впечатление, и не ожидал столь восторженного восприятия от Некрасова, который всегда казался ему человеком черствым и равнодушным к яркому слову.

Некрасов все еще задумчиво и мягко улыбался, погруженный в воспоминания, а Лопахин, растерянно потирая щеку с въевшейся в поры угольной пылью, уже говорил:

— Послушай, дружище, да не об этом раз-

говор! Дело не в красноречии, ну его к черту с красноречием, дело в том, что немец уже миновал нас и, как видно, на Волгу режет. А там — Сталинград... Тебе это понятно?

— Очень даже понятно. Это он непременно туда, сволочь, нацеливается. Это он, паразит, туда хочет рвануть.

— Ну вот! А ты о чем мечтаешь? Какой же дьявол в зятья сейчас устраивается, об отдыхе думает? Ты эту дурь, Некрасов, из головы выбрось. Это у тебя помрачение мозгов не иначе оттого, что ты сегодня на сырой земле спал...

— А ты — на перине? Все нынче на сырой земле спали.

— А вот только тебе одному в голову ударило — жениться. Нет, как хочешь, но это у тебя от сырости...

— От какой там, к бесу, сырости! — с досадой сказал Некрасов.— Оттого, что сильно устал я за год войны, вот отчего, ежели хочешь знать. Да что, на мне свет клином сошелся? Желательно тебе — оставайся, а меня нечего агитировать, я сам с детства политически грамотный. Ну, останемся мы с тобой, ну, и мокро мы двое наделаем? Фронт удержим? Как бы не так! Я, Лопахин, с первых дней войны эту серую беду трепаю.— Некрасов похлопал по скатке широкой ладонью, тусклые глаза его неожиданно оживились и заблестели светло и жестко.— Имею я право на отдых или нет?

— Когда как,— уклончиво ответил Лопахин.

— Нет, ты не виляй, ты говори!

— Сейчас — нет.

Лопахин сказал это твердо и опять посмотрел в глаза Некрасова прямым, немигающим взглядом. Некрасов улыбнулся немного вкось и, словно бы ища сочувствия и поддержки, подмигнул Копытовскому, внимательно следившему за разговором.

— Ага! Сейчас — нет? А когда же? После первого ранения я и опомниться не успел, как из медсанбата сразу же попал в часть, после

второго уже в тылу прохожу гарнизонную комиссию, ну, думаю, теперь-то уж наверняка на недельку домой пустят. Как бы не так! Беса лысого пустили! С пересыльного обратно загремел на фронт. После третьего ранения отлежался в армейском госпитале — и снова в часть. Так и катаюсь круглый год на этой бесплатной карусели... До каких же пор можно так веселиться пожилому человеку? А года мои, учти, не молоденькие.

— Воевать, значит, устарел, а жениться — самое в пору?

— Да разве я к бабе думаю пристать от молодой прыти? От нужды, глупый ты человек! Мне эта проклятая пшенная каша из концентратов все печенки-селезенки переела! — с еще большей досадой вскричал Некрасов.— А тут и здоровьишко после трех ранений пошаливает.

— Воевать, значит, здоровья не хватает, а в зятья идти — как раз? — снова спросил Лопахин, и все с тем же серьезным видом.

Копытовский фыркнул, как лошадь, почуявшая овес, и закрыл рот рукою. А Некрасов внимательно посмотрел на Лопахина, сказал:

— Слыхал я в госпитале, что есть одна такая паскудная болезнь, под названием рак желудка...

Лопахин ехидно сощурился.

— Уж не у тебя ли рак?

— У меня его нету, а вот ты, Лопахин, и есть эта самая болезнь! Ну разве можно с тобой говорить как с человеком? Всегда ты с разными подковырками, с подвохами, с дурацкими шуточками... Желудочный рак ты на двух ногах, а не человек!

— Обо мне можно не говорить, не стоит, давай лучше о тебе. Чем же твое здоровье пошатнулось? На что жалуешься, бравый ефрейтор?

— Отвяжись, ну тебя к черту!

— Нет, на самом деле, что у тебя со здоровьем?

— Ты же не доктор, чего я тебе буду расска-

зывать? — видимо колеблясь, нерешительно проговорил Некрасов.

Лопахин сделал аккуратную крученку, передал кисет Некрасову и, случайно глянув на него, тихо ужаснулся: Некрасов оторвал от газеты лист в добрую четверть длиной, щедро насыпал табаку и уже сворачивал толстенную папиросу.

— Постой! — испуганно воскликнул Лопахин, хватаясь за кисет.— Этак не пойдет! Что же ты заделываешь ее такую чрезвычайную, в палец толщиной? У меня своей табачной фабрики в вещевом мешке не имеется. Отсыпай половину!

— А я тонкие из чужого табаку крутить не умею,— спокойно сказал Некрасов.

— Так давай я тебе сверну, слышишь?

— Нет-нет, не тронь, а то рыссыпешь, я сам.— Некрасов торопливо отвел руки в сторону и стал старательно слюнить шероховатый край листка, исподлобья, искоса поглядывая на Лопахина.

— Действительно, силен ты на чужбинку сигары вертеть... — Лопахин огорченно крякнул и покачал головой, разглядывая и взвешивая на руке сразу отощавший кисет.

— Из своего я делаю малость потоньше,— все с тем же невозмутимым спокойствием сказал Некрасов и потянулся за огоньком.

Они прикурили от одной спички. Помолчали, поглядывая друг на друга с явным недружелюбием.

Стрельцов в начале разговора внимательно следил за меняющимся выражением лиц Лопахина и Некрасова, но вскоре ему это наскучило. Он положил под голову свернутую плащ-палатку, прилег, чувствуя знакомую нездоровую усталость во всем теле, подкатывающую к горлу тошноту. Он знал, как длительны бывают солдатские разговоры в часы вынужденного безделья, и хотел уснуть, но сон не приходил. В ушах звенело тонко и неумолчно, ломило виски. Глухая, мертвая немота простиралась вокруг, и от этого все окружающее казалось нереальным, почти призрачным.

Стрельцов все еще никак не мог освоиться со своим новым состоянием, не мог привыкнуть к внезапной потере слуха. Он видел, как молча шевелились над его головой плотные, до глянца омытые ночным дождем листья, как над кустом шиповника беззвучно роились шмели и дикие пчелы, и, может быть, потому, что все это происходило перед глазами лишенное живого разноголосого звучания,— у него слегка закружилась голова, и он закрыл глаза и стал привычно думать о прошлом, о той мирной жизни, которая так внезапно оборвалась 22 июня прошлого года... Но как только он вспомнил детей, тревога за их судьбу, не покидавшая его в последнее время, снова сжала сердце, и он вдруг неожиданно для самого себя протяжно застонал и испуганно открыл глаза.

Лопахин по-прежнему сидел чуть сгорбившись, положив на острые углы коленей широкие, литые кисти рук, но в лице его уже не было недавней озлобленности скрытого напряжения. Светлые, бесстрашные глаза его лукаво и насмешливо щурились, в углах тонких губ таилась улыбка.

Стрельцову было знакомо это выражение лопахинского лица, и он невольно улыбнулся, подумал: «Наверное, этого тюленя, Некрасова, разыгрывает».

Вскоре Стрельцов забылся тяжелым, безрадостным сном, но и во сне запрокинутая голова его судорожно подергивалась, а сложенные на груди руки тряслись мелкой, лихорадочной дрожью.

Некрасов долго смотрел на него, молча глотал табачный дым, трудно двигая кадыком, потом бросил под ноги обжигавший пальцы окурок, сказал:

— Какой же из него боец будет? Горькое горе, а не боец! Погляди, как его контузия трясет, он и автомата в руках не удержит, а ты его сманиваешь оставаться на передовой. Прыти у тебя много, Лопахин, а ума меньше...

— Ты за других не говори, ты лучше про свою тайную болезнь расскажи,— усмехнулся Лопахин и выжидающе посмотрел в загорелое, с шелушащимися скулами лицо Некрасова.

— Смеяться тут не над чем,— обиженно сказал Некрасов,— тут смех плохой. У меня, ежели хочешь знать, окопная болезнь, вот что.

— Первый раз слышу! Это что же такое за штука? — с искренним изумлением спросил Лопахин.— Что-нибудь такое... этакое?..

Некрасов досадно поморщился.

— Да нет, это вовсе не то, об чем вы по глупости думаете. Это болезнь не телесная, а мозговая.

— Моз-го-вая? — разочарованно протянул Лопахин. — Чепуха! У тебя такой болезни быть не может, не на чем ей обосноваться, почвы для нее нет... почвы!

— Какая она из себя? Говори, чего тянешь!— нетерпеливо прервал снедаемый любопытством Копытовский.

Некрасов пропустил мимо ушей язвительное замечание Лопахина, долго водил сломанной веточкой по песку, по голенищам своих старых, изношенных кирзовых сапог, потом нехотя заговорил:

— Видишь, как оно получилось... Еще с зимы стал я примечать за собой, что чего-то я меняюсь характером. Разговаривать с приятелями стало мне неохота, бриться, мыться и другой порядок наблюдать за собой — то же самое. За оружием, прямо скажу, следил строго, а за собой — просто никак. Не то чтобы подворотничок там пришить или другое что сделать, чтобы в аккуратности себя содержать, а даже как-то притерпелся и, почитай, два месяца бельишка не менял и не умывался как следует. Один бес, думаю, пропадать — что умытому, что неумытому. Словом, в тоску ударился и запсиховал окончательно. Живу, как во сне, хожу, как испорченный... Лейтенант Жмыхов и штрафным батальоном мне грозил, и как только не взыски-

вал, а у меня одна мыслишка: дальше фронта не пошлют, ниже рядового не разжалуют! Как есть одичал я, товарищей сторонюсь, сам себя не угадываю, и ничевошеньки-то мне не жалко: ни товарищей, ни друзей, не говоря уже про самого себя. А весной, помнишь, Лопахин, когда перегруппировка шла, двигались мы вдоль линии фронта и ночевали в Семеновке? Ну, так вот тогда первый раз со мной это дело случилось... Полроты в одной избе набилось, спали и валетами, и сидя, и по-всякому. В избе духота, жарища, надышали — сил нет! Просыпаюсь я по мелкой нужде, встал, и возомнилось мне, будто я в землянке и, чтобы выйти, надо по ступенькам подняться. В памяти был, точно помню, а полез на печку... А на печке ветхая старуха спала. Ей, этой старухе, лет девяносто или сто было, она от старости уже вся мохом взялась...

Копытовский вдруг как-то странно икнул, побагровел до синевы, задыхаясь, закрыл лицо ладонями. Он смотрел на Некрасова в щелку между пальцами одним налитым слезою глазом и молча трясся от сдерживаемого смеха.

Некрасов осекся на полуслове, нахмурился. Лопахин, свирепо шевеля губами, незаметно для Некрасова показал Копытовскому узловатый, побелевший в суставах кулак, сказал:

— Давай дальше, Некрасов, давай, не стесняйся, тут, кроме одного дурака, все понятливые.

Отвернувшись в сторону, смешливый Копытовский урчал, хрипел и тоненько взвизгивал, стараясь всеми силами подавить бешеный приступ хохота, потом притворно закашлялся. Некрасов выждал, пока Копытовский откашляется, сохраняя на помрачневшем лице прежнюю серьезность, продолжал:

— Понятное дело, что эта старуха сдуру возомнила... Я стою на приступке печи, а она, божья старушка, рухлядь этакая шелудивая, спросонок да с испугу, конечно, разволновалась и этак жалостно говорит: «Кормилец мой, ты что же это удумал, проклятый сын?» А сама меня

валенком в морду тычет. По старости лет эта бубновая краля даже на горячей печке в валенках и в шубе спала. И смех и грех, ей-богу! Ну, тут, как она меня валенком по носу достала раза два, я опамятовался и поспешно говорю ей: «Бабушка, не шуми, ради бога, и перестань ногами махать, а то, не ровен час, они у тебя при такой старости отвяжутся. Ведь это я спросонок нечаянно подумал, что из землянки наверх лезу, потому и забухался к тебе. Извиняюсь,— говорю,— бабушка, что потревожил тебя, но только ты за свою невинность ничуть не беспокойся, холера тебя возьми!» С тем и слез с приступка, со сна меня покачивает, как с похмелья, а у самого уши огнем горят. «Мать честная,— думаю,— что же это такое со мной получилось? А ежели кто-нибудь из ребят слыхал наш с бабушкой разговор, тогда что? Они же меня через эту старую дуру живьем в могилу уложат своими надсмешками!» Не успел я подумать, а меня кто-то за ногу хватает. Возле печки спал майор-связист,— это он проснулся, фонарик засветил, строго спрашивает: «Ты чего? В чем дело?» Я ему по форме доложил, как мне поблазнилось, будто я в землянке, и как я нечаянно потревожил старушку. Он и говорит: «Это у тебя, товарищ боец, окопная болезнь. Со мной тоже такая история была на Западном фронте. Дверь — направо, ступай, только смотри, куда-нибудь на крышу не заберись со своей нуждой, а то свалишься оттуда и шею к черту сломаешь».

По счастью, никто из ребят не слыхал нашего разговора, все спали с усталости без задних ног, и все обошлось благополучно. Но только с той поры редкую ночь не воображаю себя в землянке, или в блиндаже, или в каком-нибудь ином укрытии. Вот ведь пропасть какая: ежели по боевой тревоге подымут,— сразу понимаю, что и к чему, а по собственной нужде проснусь — непремено начинаю чудить...

На прошлой неделе, когда в Стукачевом ночевали, в печь умудрился залезть. Ведь это поду-

мать, только — в печь! Настоящий сумасшедший и то такого номера не придумал бы... Чуть не задушился там. Куда ни сунусь — нету выхода, да и шабаш! А задний ход дать — не соображаю, уперся головой в кирпич, лежу. Кругом горелым воняет... «Ну, думаю,— вот она и смерть моя пришла, не иначе снарядом завалило». Был у меня такой случай, завалило нас в блиндаже в ноябре прошлого года. Ежели бы товарищи тогда вскорости не отрыли,— теперь бы уж одуванчики на моих костях росли... И вот скребу ногтями кирпич в печке, дровишки раскидываю, помалу шебаршусь, а сам диким голосом окликаю: «Товарищи, дорогие! Живой кто остался? Давайте откапываться своими силами!» Никто не отзывается. Слышу только, как сердце у меня с перепугу возле самого горла бьется. Поискал руками — лопатки на поясе при мне нету. «Всем остальным ребятам,— думаю,— как видно, концы, а один я не откопаюсь голыми руками». Ну, тут я, признаться, заплакал... «Вот,—думаю,— какой неважной смертью второй раз помирать приходится провались ты пропадом и с войной такой!» Только слышу: кто-то за ноги меня тянет. Оказался это старшина. Вытянул он меня волоком, а я его в потемках, конечно, не угадываю. Стал на ноги и обрадовался страшно! Обнимаю его, благодарю. «Спасибо, мол, великое тебе, дорогой товарищ, что от смерти спас. Давай скорее остальных ребят выручать, а то пропадут же, задохнутся!» Старшина спросонок ничего не понимает, трясет меня за плечи и шепотом потихонечку спрашивает: «Да вас сколько же в одну печь набилось и за каким чертом?» А потом, когда смекнул, в чем дело, вывел меня в сени, матом перекрестил вдоль и поперек и говорит: «Три войны сломал, всякое видывал, а таких лунатов, какие не по крышам, а по чужим печам лазят, — встречаю первый раз. Ты же видел,— говорит,— что хозяйка еще засветло все съестное из печи вынула и дров

на затоп наложила, за каким же ты дьяволом туда лез?»

Я очухался и начал было объяснять ему про свою окопную болезнь, а он и слушать не желает, почесался немного, позевал и медленно так на своем сладком украинском языке говорит: «Брешешь, вражий сын! Завтра получишь два наряда за то, что мародерничал в печи, мирное население хотел обидеть, а еще два наряда — за то, что не там ищешь, где надо. Топленое молоко и щи, какие от ужина остались, хозяйка еще с вечера в погреб снесла. Солдатской наблюдательности в тебе и на грош нету!..»

Копытовский захохотал и, забывшись, снова хлопнул себя по голой ляжке:

— До чего же правильно решил старшина! Это же не старшина, а просто Верховный суд!

Некрасов мельком неодобрительно взглянул на него и все так же размеренно и спокойно, будто рассказывая о ком-то постороннем, продолжал:

— И какие средства я ни пробовал, чтобы по ночам не просыпаться,— ничего не помогает! Воды по суткам в рот не брал, горячей пищи не потреблял — один бес! Перед рассветом вскакиваю, как по команде «смирно», — и тогда пошел блудить. И вот хотя бы нынешней ночью... Проснулся перед зарей, дождь идет, ноги мокрые. Сквозь сон, сквозь эту вредную окопную болезнь думаю: «Натекло в землянку. Надо бы с вечера отводы прорыть для воды». Встал, пошарил руками — дерево. А того невдомек, что мы с Май-Бородой под тополем спали... Щупаю дерево и про себя мечтаю, что это — стенка, а сам ступеньки ищу, хочу наверх лезть. По нечаянности, когда вокруг тополя ходил, наступил этой Май-Бороде на голову... Эх, и шуму же он наделал — страсть! Вскочил, откинул плащ-палатку, плюется, а сам ругается — муха не пролетит! «Ты,— говорит,—псих такой и сякой, ежели окончательно свихнулся и по ночам на деревья лазишь, как самая последняя обезьяна,

так, по крайней мере, не топчись по живым людям, не ходи по головам, а то вот возьму винтовку да штыком тебя на дерево подсажу! Так и засохнешь на ветке, как червивое яблоко!»

А того ему, идиотскому дураку, непонятно, что наступил я на него не в своем уме, а от этой проклятой окопной болезни. Ругался он, пока не охрип от злости. И я бы ему до конца смолчал, потому что виноват я, сам понимаю. Но он собрал свои пожитки, завернул их в плащ-палатку и, перед тем как идти свежего места в лесу искать, на прощание мне и говорит: «Вот какая она, судьба-сука: хороших ребят убивают, а ты, Некрасов, все еще живой...» Ну тут я, конечно, не мог стерпеть и говорю ему: «Иди, пожалуйста, не воняй тут! Жалко, что одной ногой на твою дурацкую башку наступил, надо бы обеими, да с разбегу...» Он ко мне — с кулаками. А парень он здоровый, и силища при нем бычиная. Я автомат схватил, рубежа на два быстренько отступил и кричу ему издалека: «Не подходи близко, а то я тебя очередью так и смою с лица земли! Я из тебя сразу Январь-Бороду сделаю!» За малым до рукопашной у нас не дошло...

— Слыхал я ночью, как вы любезничали,— сказал Лопахин,— только к чему ты все это ведешь, в толк не возьму.

— Все к тому же — отдых мне требуется.

— А другим как же?

— Про других не знаю. Может, я не такой железный, как другие,— уныло проговорил Некрасов.

Он сидел, широко расставив ноги в белесых, ошарпанных о степной бурьян сапогах, и все так же чертил тоненькой веточкой на песке незамысловатые узоры, не поднимал опущенной головы.

Где-то левее, за лесом, в безоблачной синеве, казавшейся отсюда, с земли, густой и осязаемо плотной, шел скоротечный воздушный бой. Ни-

кто из сидевших на поляне не видел самолетов, только слышно было, как скрещивались там, вверху, по-особому звучные, короткие и длинные пулеметные очереди, перемежаемые глухими и частыми ударами пушек.

Из общего разноголосого и смешанного воя моторов на несколько секунд выделился голос одного истребителя: вначале пронзительный и тонкий, он, словно бы утолщаясь, перешел в низкий, басовый и гневный рев, а затем внезапно смолк. Слышались лишь далекие, неровные, стреляющие звуки выхлопов да вибрирующее тугое потрескивание, как будто вдали рвали на части полотно.

Слева в небе неожиданно возникла косая, удлиняющаяся черная полоска дыма и впереди нее — стремительно и неотвратимо летящая к земле, тускло поблескивающая на солнце фигурка самолета. Спустя немного на той стороне Дона послышался короткий, глухо хрустнувший удар...

Копытовский вдруг заметно побледнел, сказал шепотом:

— Один готов... Мама родная, хоть бы не наш! У меня и под ложечкой сосет и во рту становится солоно, когда наш вот так, на виду падает...

Он помолчал немного и, когда первая острота впечатления несколько притупилась, подозрительно скосился на Некрасова и уже иным, деловитым и встревоженным голосом спросил:

— Слушай сюда, а она, эта твоя окопная болезнь, не того... не заразная она? А то возле тебя так с проста ума посидишь, а потом, может, тоже начнешь лазить по ночам куда не следует?

Некрасов поморщился, сказал презрительно и желчно:

— Дурак!

— Интересно, почему же это я дурак? — несказанно удивился Копытовский.

— Да потому, что при твоем здоровье к тебе

даже сибирская язва не пристанет, не то что какая-нибудь умственная болезнь.

Очевидно польщенный, Копытовский молодецки выпятил массивную грудь, горделиво сказал:

— Здоровье мое подходящее, это ты правду говоришь.

— Вот вам, какие молодые и при здоровье, и можно воевать без роздыху, а мне невозможно,—грустно сказал Некрасов.— Года мои не те, да и дома желательно бы побывать... У меня ведь четверо детишек, и вот, понимаешь, год их не видел и позабыл, какие они из себя... Позабыл то есть, какие они обличьем. Глаза ихние смутно так представляю, а все остальное — как сквозь туман... Иной раз ночью, когда боя нет, до того мучаюсь, хочу ясно их вспомнить,— нет, не получается! Даже пòтом меня прошибет, а все равно не могу их точно вообразить, да и шабаш! Главное, старшенькую, Машутку, и ту толком не вспомню, а ведь ей пятнадцатый годок... Смышленая такая, первой отличницей в школе училась...

Некрасов говорил все глуше, невнятнее. Последние слова он произнес с легкой дрожью в хриплом голосе — и умолк, сломал прутик, который все время вертел в руках, и вдруг поднял на Лопахина влажно заблестевшие глаза и сквозь слезы — скупые мужские слезы — неловко улыбнулся:

— Про жену я уже не говорю... Это дело такое, что сразу слов подходящих не сыщешь... А только, признаться, тоже давно уже позабыл, как у нее под мышками пахнет...

Бледный, едва владеющий собой Лопахин смотрел на Некрасова помутневшими от гнева глазами, молча слушал, а потом неожиданно тихим, придушенным голосом спросил:

— Ты откуда родом, Некрасов? Курский?

И так же тихо, слегка покашливая, Некрасов ответил:

— Был курский. Из-под Лебедяни.

Лопахин с силою сцепил пальцы и по-преж-

нему, не сводя глаз с раскисшего лица Некрасова, глухо заговорил:

— Жалостно ты про детей рассказываешь, подлец! Очень жалостно! Что и говорить, любящий папаша и муж. Дома у него немцы хозяйничают, над его семьей измываются, а он, видишь ты, в зятья думает пристать, в тылу ему желательно прохлаждаться: нашел самое подходящее время... Что ж, отдыхай, наедай шею, развлекайся с чужой бабой, а на твоей жене немцы пусть землю пашут. А дети твои пусть с голоду подыхают, как бездомные щенки... Порядочек! А еще говоришь, что позабыл, какие они из себя, твои дети. Нехитро забыть, если вся забота только о своей шкуре. Да ты морду не вороти, слушай! Говоришь, дома желательно побывать, а как же ты думаешь побывать там? На ногах войдешь по чести-совести, как солдат, или, может быть,— на пузе, к немцу в плен? А потом к своему порогу приползешь, хвостом повиляешь, семью обрадуешь: вот, мол, уморился воевать ваш герой, теперь думаю перед фрицем на задних лапках стоять и служить ему верой-правдой, так, что ли? Думал я, Некрасов, что ты русский человек, а ты, оказывается, дерьмо неизвестной национальности. Иди отсюда, жабья слизь, не доводи меня до греха!

Лопахин говорил, с каждой минутой все более ожесточаясь сердцем, и наконец умолк, выдохнув воздух с такой силой, словно в груди у него был кузнечный мех.

— Да, ты ступай, пожалуй, Некрасов, а то как бы он тебя по нечаянности не того... не стукнул,— посоветовал Копытовский, не на шутку встревоженный еще не виданной им грозной сдержанностью Лопахина.

Некрасов не пошевельнулся. Вначале он слушал, медленно краснея, неотступно глядя в голубые лопахинские глаза, блестевшие тусклым, стальным блеском, а потом отвел взгляд, и както сразу сероватая бледность покрыла его щеки и подбородок, и даже на шелушащихся от зага-

ра скулах проступила мертвенная, нехорошая синева.

Он молчал, низко опустив голову, бесцельно трогая дрожащими пальцами замасленный ремень автомата. И так тягостно было это долгое молчание, что Лопахин первый не выдержал и, все еще часто и хрипло дыша, обратился к Копытовскому:

— Ну, а ты, Сашка, как? Остаешься?

Копытовский с треском оторвал косой листок на самокрутку, сердито вздернул русую бровь:

— Вот еще вопрос, даже странно слышать! Что же, мы с тобой наше ружье пополам переломим, что ли? Ты остаешься — и я остаюсь. Мы же с тобой, как рыба с водой... Будем вместе дуться до победного конца. А бросить тебя я не могу, ты без меня с тоски подохнешь: ругать-то некого будет! Я терпеливый, а другой может и не смолчать тебе,— на какого нарвешься.

У Лопахина потеплели глаза и что-то новое скользнуло во взгляде, когда он искоса глянул на своего второго номера.

— Это правильно,— одобрительно сказал он.— Это по-товарищески. Что ж, побудь, дорогой мой Сашенька, возле Стрельцова, а я схожу к старшине. Надо доложиться по начальству, что остаемся, не крадучись же делать такое дело.

Вскоре его догнал Некрасов, окликнул.

— Ну, чего еще тебе, теткин зять? — не поворачивая головы, грубо спросил Лопахин.

Поравнявшись, Некрасов несвязно забормотал:

— Порешил... так что и я... порешил остаться с вами, эко дело! Опамятовался! С устатку да с зла чего только не придумаешь, с дурна ума чего не наговоришь... А ты, Лопахин, не всяко лыко в строку... Вместе-то сколько протопали, не чужой же я, в самом деле... Серчать тут особенно нечего. Петя, слышишь? Что ж, угости, давай закурим мировую?

Отходчиво оказалось сердце Лопахина к сво-

ему человеку... Он застопорил шаг и, на ходу доставая кисет, уже несколько смягчившимся голосом буркнул:

— Тебя, дуру, прикладом бы угостить надо! Плетет черт знает что, а ты его уговаривай, умасливай да последние несчастные нервы с ним трепи... На, да не забывай, что из чужого табаку надо крутить потоньше.

— Клянусь, не умею делать тонких! — воскликнул повеселевший Некрасов.

Лопахин остановился, свернул крохотную папироску, молча сунул в руку Некрасова. Тот бережно взял ее негнущимися черными пальцами, критически осмотрел со всех сторон и, вздохнув, так же молча стал прикуривать.

* * *

Они пришли к землянке старшины как раз вовремя: у входа — вытянувшись, руки по швам,— стоял станковый пулеметчик Василий Хмыз, а старшина Поприщенко, свирепо сверкая опухшими, красными от бессонницы глазками, отчитывал его:

— И что это за герои пошли! Ни устава не хотят признавать, ни дисциплины, об военной службе и понятия не имеют, действуют, как детишки на ярмарке: чего ихняя душенька захочет,— вынь да положь им, хоть роди! Да ты знаешь, что солдат и кашу есть и помирать должен только по приказу начальства, а не тогда, когда ему самому вздумается?

Он помолчал немного, пронзительно глядя в красивое худое лицо пулеметчика, и сразу повысил голос:

— Расхристались! Все вам можно! Ну, с чем ты пришел до меня, злодий? Что у меня — воинская часть или плотницкая артель? Ты в армию на поденную работу нанимался, что ли? И какое я имею право отпустить тебя в другую часть, ну какое? Нынче ты уйдешь, завтра — другой, и так и далее, а потом что же получится, спраши-

ваю тебя? Останусь я один,— и один явлюсь к командиру дивизии? Вот, мол, товарищ полковник, видали вы старого дурня? Честь имею явиться,— старшина Поприщенко. Были в полку уцелевшие от боев люди, да я их всех пораспускал по свиту, как та плохая квочка, какая без цыплят домой одна приходит... Сымите с меня высокое звание старшины и прикажите повесить меня на самом поганом суку, я очень даже заслужил себе эти качели... Так, что ли, Василий Хмыз? Такой чести ты для моей солдатской старости хочешь? А этого ты не нюхал, чертов байстрюк?

Старшина сложил из обкуренных, коричневых пальцев дулю, некоторое время подержал ее на весу возле тонкого, с горбинкой носа пулеметчика, потом, опустив руку, значительно сказал:

— Если ты с дурной головы вздумаешь уйти самовольно,— считаю тебя дезертиром, так и знай! И отвечать перед трибуналом будешь как за дезертирство! Ступай к чертовой маме, и чтобы больше ко мне с такими глупостями не являлся!

— Есть, товарищ старшина, больше к вам с такими глупостями не являться,— подчеркнуто официально повторил Хмыз и, нахмурив девичьи тонкие, черные брови, повернулся налево кругом, мягко стукнул стоптанными каблуками.

Старшина проводил его стройную, щеголевато подтянутую фигуру долгим взглядом, широко развел руками.

— Видали, какие умники пошли? — проговорил он, часто мигая слезящимися глазками и негодующе раздувая рыжие, с густою проседью усы.— Четвертый за утро приходит — и все с одной и той же песней! Четвертый! Не желают они в тыл идти, желают тут оставаться... Да я, может, сам нисколько не желаю в тыл, а приказ я выполнять должен?! — вдруг выкрикнул он высоким сиплым фальцетом, но, справившись с волнением, продолжал уже более спокойно: — Только что видел майора — командира тридцать

четвертого полка. Он приказал немедленно отправляться в хутор Таловский, там штаб нашей дивизии. Осмелился у него спросить: как же с нами будет? Он говорит: «Не беспокойся, старик, раз сохранили боевую святыню — знамя, значит, полк не расформируют, а быстренько пополнят людьми, комсостав подкинут, и опять двинем на фронт, на самый важный участок!» — Старшина торжественно поднял указательный палец, повторил: — На самый важный, это как, понятно вам? Потому, говорит майор, что дивизия наша кадровая, все виды видавшая и очень стойкая. А такая дивизия, хотя она и сильно потрепанная, без дела долго не застоится. Так майор сказал, а тут приходят разные байстрюки, голову мне своим детским геройством морочат... Они хотят свою родную часть кинуть и болтаться на фронте, как ковях в проруби. Да где это видано такое, чтобы из части в часть по своему усмотрению бегать? А спрошу я вас, откуда Васька Хмыз, щенок такой молокососный, может знать, где есть самый важный участок? Может, дивизия, какая тут оборону заняла, на подмену нам, до зимы будет в глухой обороне стоять, может, тут и боев никаких не будет, а так только — одна отсидка. И кто больше знает, майор или этот свистун Васька?

Все шло прахом! Все прежние расчеты и планы Лопахина были безжалостно опрокинуты неопровержимыми доводами старшины. Лопахин зачем-то снял каску и погладил ладонью ее накаленный солнцем верх. «Кругом прав чертов старик! Как же мой котелок этого дела раньше не сварил? — удрученно думал он, глядя куда-то мимо старшины. — Очень даже просто, что пошлют нас на ответственный участок и что тут не будут фрицы напирать. Да так оно, наверное, и будет! Вон они режут куда-то мимо нас, на восток... Эх, маху дал я, а теперь отбой надо бить...»

— А вы, сынки, чего явились? — со зловещей вкрадчивостью спросил старшина, очевидно, озаренный неприятной догадкой, и, словно петух

перед дракой, вытянул вперед морщинистую шею, ожидая ответа.

У Некрасова от неожиданности отвисла нижняя челюсть, когда Лопахин, вытирая рукавом обильно проступивший на лбу пот, равнодушно ответил:

— Пришли узнать, когда выступать будем.

Старшина облегченно вздохнул. Не без труда расставаясь со своим прежним решением, тяжело вздохнул и Лопахин. А Некрасов со свистом втянул в себя воздух, зашептал:

— Чего воду мутишь? Говори ему сразу! Говори прямо, нас он на испуг не возьмет!

— Все сказано! — отрезал Лопахин и повернулся к старшине: — Командуй сбор, а то как бы твоя плотницкая артель не расползлась по швам...

* * *

Переход в пятнадцать километров сделали с одним небольшим привалом на полпути и часам к шести вечера, едва стала спадать гнетущая жара, вступили в хутор, просторно раскинувшийся по заросшему вербами суходолу.

Отсюда до хутора Таловского, где находился штаб дивизии, было всего лишь около семи километров, но еще при входе в хутор старшина Поприщенко объявил, что ночевать будут здесь. Кто-то из бойцов недовольно проговорил:

— Рано становиться на ночевку! Перекурим, отдохнем малость и к заходу солнца притопаем в Таловский. Слышь, старшина?

Еще кто-то добавил:

— Целый день не жрали! Там хоть к комендантскому котлу подвалимся...

Поприщенко сердито фыркнул в серые от пыли усы, строго оглядел говоривших:

— А ну, прекратить разговорчики и обсуждения! С голодными босяками я не могу являться к полковнику. Ясно? Станем на ночлег, и чтобы к ночи у меня все было чин по чину: рванье на

обмундировании зашить, заштопать, у кого обувка в жалостном виде — привести в порядок, оружие — само собой, до зеркального состояния, а также помыться, щетину соскоблить, чтобы к утру были у меня как стеклышки. Строго проверю. Ясно? А что касается подзаправиться — добуду в колхозе. Тут тоже не чужая держава, и чтобы по дворам у меня не шастаться, мы не нищие. Ясно? И полк свой я позорить не позволю, ясно и понятно!

Колхозного председателя застали в правлении колхоза. Старшина вошел в дом, бойцы присели в холодке, некоторые устало потянулись к колодцу. Прошло минут пятнадцать, а в доме все еще звучали голоса: рассудительный и словно бы упрашивающий — старшины и другой, тенористый, — как видно, председателя, все время на разные лады упрямо повторявший: «Не могу. Сказано, не могу. Не могу, товарищ старшина!»

— Что-то они никак не столкуются. Иди, Лопахин, старику на выручку,— посоветовал Копытовский.

Лопахин, давно и внимательно прислушивавшийся к доносившимся из дома обрывкам разговора, встал и решительно зашагал к крыльцу.

В небольшой комнатке, у окна с крест-накрест приклеенными к стеклу полосками газетной бумаги, сидел председатель колхоза — молодой рослый мужчина в старенькой армейской гимнастерке и сдвинутой на затылок, выгоревшей добела пилотке без звездочки. Правый порожний рукав гимнастерки был у него небрежно заткнут за пояс. Старшина поместился против него, почти вплотную придвинув табурет, касаясь своими коленями колен председателя, и, всячески стараясь придать своему хрипловатому баску как можно больше убедительности, говорил:

— Ты же бывший фронтовик, а в понятие не берешь наше положение, рассуждаешь, извиняюсь, как несознательная женщина...

Председатель недобро поблескивал узко по-

саженными серыми глазами и молча кривил губы. Его явно тяготил этот разговор. Лопахин поздоровался, присел на край скамьи.

— А в чем у вас дело? Об чем торгуетесь?

Не поворачивая в его сторону головы, председатель ответил:

— А в том, что старшина ваш просит выписать ему продуктов из колхозной кладовой, а я не могу этого сделать.

— Почему?

— Ха! Почему? Да потому, что в кладовой пусто. Ты думаешь, вы первые через хутор бежите?

— Мы не бежим,— сдержанно поправил его Лопахин, чуствуя, как закипает в нем злость к председателю, к его холодным, узко посаженным глазам, к самоуверенному тенористому голосу. «Забыл, как на фронте живут, отвоевался вчистую, отъелся, а теперь ему чужая нужда — не беда, теперь ему и ветер в спину»,— думал он, с острой неприязнью глядя сбоку на крутую и красную председательскую шею, на тугие, чисто выбритые щеки.

— Вы не первые бежите и, видать, не последние,— упрямо повторял председатель.

— Повторяю, мы не бежим,— резко сказал Лопахин.— Это во-первых, а во-вторых, мы — последние. После нас никого нет.

— А нам от этого не легче! Какие раньше вас прочапали,— все подчистили, как веником подмели!

Председатель повернулся лицом к Лопахину, хотел что-то еще сказать, но Лопахин опередил его вопросом:

— Ты на фронте был?

— А руку мне телок отжевал, по-твоему?

— Отступать приходилось?

— Всяко было, но такого, как сейчас, не видывал.

— Пойми, дорогой человек, еловая голова, не могу же я свой народ голодным оставлять,— сказал старшина.— Я за каждого из них в от-

вете перед командованием. Ясно? Ты пиши накладную, а там что-нибудь найдется, нам много не надо.

Для вящей убедительности старшина положил руку на колено председателя, но тот отодвинул ногу, улыбнулся мирно и просто.

— Эх, старшинка, старшинка! Беда мне с тобой, старик! Ведь русским языком тебе говорю: ничего в кладовой, кроме мышей, нет, а ты не веришь. И ты меня за ногу не лапай, я не девка, да и нога у меня на просьбы не чувствительная, она на протезе... Вот мое последнее слово: килограмма два пшена выдам — и все, а хлеба по дворам добудете.

— Куда же мне два килограмма на двадцать семь активных штыков, считай, на весь полк? А заправлять кашу чем? И по дворам за хлебом я солдат не пущу: мы не нищие. Ясно?

Лопахин взглянул на удрученное лицо старшины, с грохотом отодвинул скамью... Старшина предостерегающе поднял руку:

— Лопахин, не горячись!

— Пошли в кладовую,— коротко сказал председатель.

Твердо наступая скрипящим протезом на половицы, он направился к выходу. Поприщенко охотно последовал за ним. Замыкающим шел Лопахин.

Возле амбара председатель пропустил вперед старшину, взял Лопахина за локоть.

— Погляди сам, горячка, что у нас осталось. Черного амбара не имею и скрывать от вас ничего не хочу. Ребята вы, видать, боевые, славные, и я бы овцы, скажем, не пожалел вам на варево, но весь скот — и крупный и мелкий — отправили вчера в эвакуацию по распоряжению района. Осталось только то, что принадлежит личному пользованию колхозников. Свою бы овчишку отдал, но у меня в хозяйстве — только жена да кошка.

Лопахин молча помог отомкнуть большой висячий замок, шагнул в полутемный амбар. Толь-

ко в одном небольшом закроме, в уголке, сиротливо кучились сметки пшена. Видя нерешительность Лопахина, старшина строго сказал:

— Действуй!

Перегнувшись, багровея от стыда и напряжения, Лопахин смел лежавшим на дне закрома гусиным крылом пшено на середину, выпрямился.

— Тут его килограмма три будет или около этого.

— Ну и забирайте все, нам его на развод не оставлять,— добродушно сказал председатель, не сводя с Лопахина подобревших, почти ласковых глаз.

Пока Лопахин горстями ссыпал пшено в вещевой мешок, старшина достал из кармана просолившийся от пота тощий бумажник и, шевеля пыльными усами, стал отсчитывать замасленные рублевки.

— Сколько по твердой цене? — спросил он, исподлобья глядя на председателя.

Тот, смеясь, махнул рукой.

— Нисколько. За сметки не берем.

— А мы даром не берем. Ясно? — Старшина положил деньги на край закрома, чинно сказал: — Благодарствуем за уважение. — И пошел к выходу.

— Мыши твои деньги съедят,— все так же посмеиваясь, сказал председатель.

Старшина не ответил. За дверями он отозвал в сторону Лопахина, шепнул:

— Почин есть, а дальше что? В сказке солдат из топора кашу варил, так то — в сказке, а мы как будем, шахтер? Жидкая каша без заправки и хлеба — то же самое, что свадьба без жениха, а ребята голодные до смерти! Прямо безвыходное положение,— грустно заключил старшина.

Безвыходное положение? Нет безвыходных положений! Так, по крайней мере, всегда считал Лопахин, и, быть может, последняя фраза старшины и заставила его принять опрометчивое

решение... Веселые огоньки зажглись в светлых бесстрашных глазах Лопахина. Черт возьми, как он раньше не подумал об этом, как мог он опустить руки, имея на руках такой козырь, как свой неизменный успех у женщин, свою неотразимость, в которую верил всем сердцем? Лопахин бодро похлопал приунывшего старшину по плечу, сказал:

— Главное, не робей, Поприщенко! Положись во всем на меня. Сейчас все организуем. На сегодня многого не обещаю, буду знакомиться с обстановкой и вести разведку боем, а уж завтра утром накормлю вас всех — во! — И приложил ребро ладони к раздувшимся ноздрям.

— А что ты придумал? — осторожно осведомился старшина.— Может, какую беззаконную пакость?

— Все будет согласно закона, даю честное бронебойное слово,— заверил Лопахин и широко улыбнулся.— В этом деле страдаю один я. Придется мне поколебать свои нравственные устои, но уж поскольку они и до этого давно расшатанные,— готов пострадать ради товарищей.

— Ты говори толком и не морочь мне голову.

— А вот сейчас узнаешь. Товарищ председатель, на минутку!

Лопахин, доверительно касаясь пуговицы на гимнастерке председателя и в упор глядя в его узко посаженные глаза, заговорил:

— Парень ты свой, и я с тобой буду говорить начистоту: кормиться нам чем-нибудь надо, так? Ты помочь нам продуктами не можешь, так? Тогда помоги в другом деле.

— В каком?

— Есть в твоем колхозе вдова или солдатка, чтобы зажиточно жила, чтобы у нее в хозяйстве всякая чепуха была, ну, куры там, или овцы, или другая какая мелкая живность?

— Конечно, есть таковые. Колхоз наш не из бедных.

— Ну вот и станови нас на постой на одну ночь к такой зажиточной гражданке. А там уже

наше дело будет, как с ней столкуемся. Только, пожалуйста, чтобы хозяйка не мордоворот была, а так, более или менее на женщину похожая, понимаешь?

Председатель насмешливо сощурил глаза, спросил:

— И не старше семидесяти лет?

Слишком серьезный вопрос обсуждался, чтобы Лопахин мог принимать всякие шуточки. Он задумчиво помолчал, потом ответил:

— Семьдесят — это, браток, многовато, это — цена с запросом, а на шестьдесят, на худой конец, согласен, куда ни шло! Риск — благородное дело! Но желательно, конечно, помоложе...

— Что же, это можно,— морща в улыбке губы, сказал председатель.— Это ты по-солдатски решаешь. На безрыбье, говорят, и рак рыба, а в поле — и жук мясо. Поставлю на квартиру, только, чур, на меня после не обижаться...

— А в чем дело? — настороженно спросил Лопахин.

— Недалеко отсюда живет одна солдатка. Лет ей под тридцать. Муж у нее на фронте, старший лейтенант. В хозяйстве у нее черта одного нет — и куры, и гуси, и утки, и двух большеньких поросят держит, и овец десятка полтора имеет. Богато живет! И главное — одна, ни детей, никого нет. Да вон дом ее, видишь за тополями зеленую крышу? Это она самое там проживает. А муж ее до войны работал...

— Мне он по ночам не снится, ее муж,— нетерпеливо прервал Лопахин.— А в чем дело? За что можно обижаться-то? Возраст вполне подходящий!

— Строга она, парень, ох, до чего строга!

— Ну, это не страшно, не таких обламывали, веди,— самоуверенно сказал Лопахин и повернулся к старшине. — Разрешите действовать, товарищ старшина?

Поприщенко устало махнул рукой.

— Действуй. Только что-то мне сомнительно... Подведешь ты нас, Лопахин.

— Я? Подведу? — возмутился Лопахин.

— Очень даже просто подведешь. Служил я на действительной в старой армии, тоже молодой был, землю копытом рыл, не без греха жил. Ну, оторвешься, бывало, к знакомке, ну, яичницу и бутылку водки охлопочешь себе, а ведь тут двадцать семь человек... Вот я и думаю: как же это надо услужить бабе, чтобы она не на одного, а на двадцать семь душ харчей отпустила? Тут, шахтер, трудиться надо, я бы сказал...

— А я с трудами не посчитаюсь,— скромно уверил его Лопахин.

* * *

На западной окраине неба почти недвижно стояла белая, с розовым подбоем тучка. Вокруг неровных, зазубренных краев ее гулял вышний ветер, кучерявил лохматую окаемку. Выше тучи прошли на север четыре «мессершмитта». Они свалились вниз где-то за хутором, и спустя немного ветер донес частую дробь пулеметных очередей и глухие разрывы.

— Кого-то накололи на дороге. Кому-то сейчас скучно там... — сказал высокий длинношеий боец, промышлявший за Доном раков.

Лопахин только на секунду поднял голову, прислушиваясь к недалеким разрывам, и снова опустил ее, поплевывая на сапоги и тщательно надраивая их длинной лентой, отрезанной от полы немецкой шинели.

Бойцы разместились под навесом сарая. В грязных, пропотевших насквозь исподних рубахах они чинили изорванные в локтях, выгоревшие гимнастерки, штаны и шинели, мудрствовали над изношенными и худыми сапогами и ботинками. Кто-то добыл по соседству сапожный инструмент, пару стареньких колодок и дратву. Копытовский, оказавшийся неплохим сапожником, подбил подметки на своих сапогах и, недовольно поглядывая на сваленную в кучу возле

него обувку товарищей, негодующе фыркнул: «Нашли сапожный комбинат! Нашли дурака на даровщину! Так я и буду вам молотком стучать до белой зари!» Он сидел на обрубке дерева в серых, расползшихся на нитки трусах и, широко расставив толстые ноги, яростно вколачивал в подошву сапога, принадлежавшего Некрасову, ядреные березовые шпильки. Свернув ноги калачиком, рядом с ним сидел на земле Некрасов и, неумело орудуя изогнутой иглой-грошевухой, приваривал огромную латку на штанине Копытовского. Бугристым швом ложилась под его руками суровая нитка, и Копытовский, отрываясь от работы, критически говорил:

— У тебя, Некрасов, одна посадка портновская, а уменья ничего нету. Тебе, по-настоящему, только хомуты на ломовых лошадей вязать, а не благородные солдатские штаны чинить. Ну разве это работа? Насмешка над штанами, а не работа! Шов — в палец толщиной, любая вошь — если упадет с него — убьется насмерть. Пачкун ты, а не портной!

— Это твои-то штаны благородные? — отозвался Некрасов.— Их в руках держать — и то противно! А я чиню их, мучаюсь, вторую сумку от противогаза на них расходую, но конца моей работе не видно... На тебя штаны из листовой жести шить надо, тогда будет толк. Давай, Сашка, хлястик на трусы тебе пришью, а штаны сожжем, а?

Копытовский закатил глаза под лоб, придумывая ответ поязвительней, но в это время кто-то громко сказал:

— Братва, хозяйка идет!

Все разом смолкли. Двадцать шесть пар глаз устремились к калитке, только Стрельцов, тихонько насвистывая, тщательно смазывал разобранный затвор автомата, не поднимал опущенной головы.

Неправдоподобно высокого роста, огромная, дородная женщина величаво подходила к калит-

ке. Она была по-своему статна и хороша лицом, но по меньшей мере на голову выше самого высокого из бойцов. В наступившей тишине кто-то изумленно ахнул:

— Ну, вот это — да!

А старшина, испуганно выпучив опухшие глазки, толкнул Лопахина в бок:

— Вот и радуйся теперь... Скушали нежданку!

Лопахин сразу на четыре дырки затянул скрипнувший ремень, торопливо оправил складки гимнастерки, снял каску и ладонью пригладил волосы. Весь подобравшись, как боевой конь при звуках трубы, он зачарованными, светящимися глазами провожал широко шагавшую по двору мощную женщину...

Старшина отчаянно махнул рукою, сказал:

— Все пропало! Пойду сейчас этому председателю морду набью, пущай над нами насмешки не вчиняет, собачий сын!..

Лопахин обратил к нему рассеянный взгляд, недовольно спросил:

— Ты чего паникуешь?

— Как же это — чего? — возмутился старшина.— Ты видишь, кто идет?

— Вижу. Типичная женщина. В юбке и при всех остальных достоинствах. Просто прелесть, а не женщина!— восторженно сказал Лопахин.

— Типичная! Прелесть в юбке!— яростным шепотом передразнил старшина.— Не женщина, а памятник идет. Ясно? На нее смотреть и то страшно! До войны в Москве на сельхозвыставке видал я такую. Стоит при входе каменная баба на манер памятника, вот и эта ничуть не меньше... Сотворит же господь бог такое неподобие, тьфу! —Старшина, отплевываясь и чертыхаясь, потащил Лопахина в угол сарая, шепотом спросил: — Ну, что будем делать теперь? Квартиру менять?

Лопахин снисходительно улыбнулся и пожал плечами.

— О чем речь? И с какой стати менять? То

же самое и будем делать, о чем с тобой договаривались. Задача остается прежняя.

— Да ты протри глаза, Лопахин, погляди на нее хорошенько! Ведь ты ей головой до плеча не достанешь!

— Ну и что?

— А то, что мелковатый твой рост по ней. Ясно?

Глядя на растерянное и даже немного испуганное лицо старшины, Лопахин улыбался уже с нескрываемым презрением:

— До седых волос ты дожил, старшина, а не знаешь того, что знает любая женщина...

— Чего же это я не знаю, дозволь спросить?

— А того, что мелкая блоха злее кусает, понятно тебе?

Старшина, несколько поколебленный в своих сомнениях, не без скрытого уважения молча и пристально смотрел на Лопахина, дивясь про себя его бесшабашной самоуверенности. А Лопахин, щуря в улыбке светлые глаза, говорил:

— Ты древнюю историю когда-нибудь изучал, старшина?

— Не приходилось. По моей плотницкой профессии она мне была вроде бы и ни к чему. А что?

— Жил в старину такой полководец Александр Македонский, так вот у него, как потом и у римского полководца Юлия Цезаря, лозунг был: «Пришел. Увидел. Победил». Я придерживаюсь этого лозунга, и рост этой гражданки меня ничуть не пугает! Разрешите действовать, товарищ старшина?

— Оно, конечно, действуй, я не возражаю, по случаю безвыходного положения. Но одно скажу тебе, шахтер: не помрешь ты своей смертью...

Старшина сокрушенно покачал головой, но Лопахин только игриво подмигнул и положил тяжелую руку на старчески сухое плечо старшины:

— Все будет в порядочке. Ни тебя, ни себя я не подведу, старшина! Будь спокоен!

* * *

Лопахин прилагал героические усилия, чтобы снискать расположение хозяйки: он вызвался помочь ей в поливке огорода и даже с полными ведрами не шел от колодца, как полагается степенному мужчине, а семенил дробной веселой рысцой впереди медлительно шагавшей женщины; дрова рубил так, что из-под топора янтарными брызгами во все стороны летели сухие ольховые щепки; ни минуты не колеблясь, снял начищенные до блеска сапоги, до колен подсучил штаны и рьяно принялся за чистку летнего коровьего база, по щиколотку увязая в закрутевшем навозе...

Хозяйка охотно принимала все эти услуги, поглядывая на суетившегося Лопахина с веселой хитринкой, улыбаясь одними серыми глазами и лишь изредка отворачиваясь и с тяжеловесной грацией поправляя на голове белый платочек. Но если бы только видел Лопахин в это время ее откровенную и всезнающую улыбку!..

Бойцы по-прежнему сидели под навесом сарая, вполголоса переговаривались. Каждый из них был занят своим делом, однако ни единое движение Лопахина и хозяйки не ускользало от их неусыпного внимания. Но зорче всех наблюдал за Лопахиным старшина. Он примостился на сиденье поломанной косилки, стоявшей возле сарая, и озирал двор, подобно военачальнику, следящему за исходом сражения на поле боя. Пулеметчик Василий Хмыз, подмигивая бойцам, насмешливо сказал:

— А у вас, товарищ старшина, НП подходящий, прямо как у генерала. Обзорец с него хоть куда!

Старшина раздраженно буркнул:

— Молчи, щеня! Человек для нашей же общей пользы старается, а ты гавкаешь.

Старшина по-прежнему недоверчиво относился к предприятию Лопахина, но когда хозяйка низким, грудным голосом ласково окликнула

расторопного бронебойщика, старшина просиял:

— Вот ведь вражий сын! Вот злодий по бабьей линии! Она его уже по имени-отчеству величает! И когда успела узнать? Слыхали, Петром Федотычем назвала! Ну и шахтер! Этот не пропадет и в сиротах не засидится.

— Клюет! — довольно проговорил Некрасов, кивая на хозяйку и слегка подталкивая старшину в бок.

— Ясно, что наклевывается! А почему бы, спрошу я тебя, и не клевало? Парень он геройский, а рост, что же рост... На пару этой бабе надо парня прогонистого, длиной с мостовую сваю, либо двух хороших ребят надо гвоздями сколачивать, чтобы верхний ростом до нее дотянулся. Но Лопахин не этим берет, собачий сын! Недаром говорят, что мал клоп, да вонюч. Геройством берет, как все равно этот полководец...— Старшина, жуя губами, всмотрелся в лицо Некрасова и вдруг неожиданно спросил: — Ты древнюю историю изучал когда-нибудь?

— У меня низкое образование,— со вздохом сожаления сказал Некрасов.— Я и приходскую школу не окончил через этот проклятый царизм и по бедности моих родителей. Древних историй я не знаю, не приходилось с ними сталкиваться. Чего не знаю, того не знаю, хвалиться не буду.

— Напрасно не учил, напрасно! — укоризненно проговорил старшина и с видом собственного превосходства закрутил ус. — Мне разные науки с детства тоже нелегко давались. Изучаешь, бывало, какую-нибудь там древнюю или не особенно древнюю историю или, скажем, такую вредную науку, вроде географии, так не поверишь,— иной раз даже ум за разум зайдет! А все-таки одолеваешь их, и сам по себе становишься все образованнее, все образованнее. Ясно?

— Конечно, ясно,— уныло подтвердил Некрасов, подавленный образованностью старшины, которую раньше, за боевым недосугом, как-то не замечал.

— Вот, к примеру, был в старину такой знаме-

нитейший полководец: Александр... Александр... Э, чертова память! Сразу и не припомнишь его фамилии... Стариковская память — как худая рукавица... Александр...

— Суворов? — несмело подсказал Некрасов.

— Никакой не Суворов, а Александр Македонсков, вот какая его фамилия! Насилу вспомнил, хай ему сто чертей! Это еще до Суворова было, при царе Горохе, когда людей было трохи. Так вот этот Александр воевал так: раз, два — и в дамках! И первая заповедь насчет противника у него была такая: «Пришел. Увидел. Наследил». А наследит, собачий сын, бывало, так, что противник после этого сто лет чихает, никак не опомнится. И кого он только не бил! И немцев, и французов, и шведов, не говоря уже про разных итальянцев. Только в России напоролся и показал тыл, повернул обратно. Не по зубам пришлась ему Россия!

— А какой же он нации был? — поинтересовался Некрасов.

— Он-то? Александр этот? — Неожиданный вопрос застал старшину врасплох. Он долго теребил ус, мучительно морщил лоб, бормотал: — Э, память собачья! У старого человека она, как у старого кобеля: того Серком зовут, а он и хвостом не виляет, позабыл свое прозвище...— Старшина в задумчивости помолчал немного, потом решительно сказал: — У него своя нация была.

— Как же это — своя? — удивился Некрасов.

— А так, своя, и все тут. Собственная нация, и шабаш. Ясно? Так в древней истории прописано. Была у него своя нация, а потом вся перевелась, и на развод ничего не осталось. Ну, да это неважно. А вспомнили мы с Лопахиным про этого Александра по такому случаю: я ему говорю, смотри, мол, не обожгись, Лопахин, с этой хозяюшкой, не подведи нас насчет харчей, а он смеется, вражий сын, и говорит: «У меня такая привычка, как у Александра Македонского: пришел, увидел, наследил». Ну, говорю ему, дай боже, чтоб наше теля та вовка зъило, действуй, но уж

если будешь следить, то следи так, чтобы хозяюшка на овечку разорилась, не меньше! Обещал выполнить. И, как видно, дело у него идет на лад. Слышал, как она к нему обратилась: «Петр Федотыч, подайте мне ведра»? Во-первых, по имени-отчеству, во-вторых — на букву вы, а это что-нибудь означает, ясно?

— Конечно, ясно,— охотно потвердил Некрасов.— А неплохо бы было щец с молодой баранинкой рубануть... Хороши овечки у хозяйки, особенно одна ярка справная. Там курдюк у нее — килограмма на четыре, не меньше! Ежели раздобрится хозяйка на овцу, надо только эту ярку резать. Я ее облюбовал, еще когда овцы с попаса пришли.

— Борщ из баранины хорош с молодой капустой,— задумчиво сказал старшина.

— Капуста молодая, а картошка должна быть в борще старая,— с живостью отозвался Некрасов.— В молодой картошке толку нет, на варево она не годится.

— Можно и старой положить,— согласился старшина.— А еще неплохо поджаренного лучку туда кинуть, этак самую малость...

Незаметно подошедший к ним Василий Хмыз тихо сказал:

— До войны мама всегда на базаре покупала баранину непременно с почками. Для борща это замечательный кусок! И еще укропу надо немного. От него такой аромат — на весь дом!

— Укроп — баловство одно. Главное, чтобы капуста свежая была и помидорки. Вот в чем вся загвоздка! — решительно возразил старшина.

— Морква тоже невредная штука для борща,— мечтательно проговорил Некрасов.

Старшина хотел что-то сказать, но вдруг сплюнул клейкую слюну, злобно проворчал:

— А ну, кончай базар! Давай, дочищай оружие, сейчас проверять буду по всей строгости. Затеют дурацкие разговорчики, а ты их слушай тут, выворачивай живот наизнанку...

* * *

Большинство бойцов расположилось спать на дворе, возле сарая. Хозяйка постелила себе на кухне, а в горнице, отделявшейся от кухни легкими сенями, легли на полу старшина, Стрельцов, Лопахин, Хмыз, Копытовский и еще четверо бойцов.

Хмыз и длинношеий боец, за которым прочно утвердилась кличка «раколов», долго о чем-то шептались. Копытовский на ощупь ловил блох, вполголоса ругался. Лопахин выкурил две папиросы подряд и притих. Спустя немного его шепотом окликнул старшина:

— Лопахин, не спишь?

— Нет.

— Смотри не усни!

— Не беспокойся.

— Тебе бы для храбрости сейчас грамм двести водки, да где ее, у чертова батьки, достанешь?

Лопахин тихо засмеялся в темноте, сказал:

— Обойдусь и без этого зелья.

Слышно было, как он с хрустом потянулся и встал.

— Пошел, что ли? — шепотом спросил старшина.

— Ну, а чего же время терять? — не сдерживая голоса, ответил Лопахин.

— Удачи тебе! — проникновенно сказал раколов.

Лопахин промолчал. Ступая на цыпочках, он ощупью шел в кромешной тьме, направляясь к двери, ведущей в сени.

— В доме спят самые голодные, остальные — во дворе, — вполголоса сказал Хмыз и по-мальчишески пырскнул, закрывая рукою рот.

— Ты чего? — удивленно спросил Копытовский.

— Но пасаран! Они не пройдут! — дрожащим от смеха голосом проговорил Хмыз.

И тотчас же отозвался ему Акимов — снайпер третьего батальона, — желчный и раздра-

жительный человек, до войны работавший бухгалтером на крупном строительстве в Сибири:

— Я попрошу вас, товарищ Хмыз, осторожнее обращаться со словами, которые дороги человечеству. Интеллигентный молодой человек, насколько мне известно, окончивший десятилетку, а усваиваете довольно дурную манеру — легко относиться к слову...

— Он не пройдет! — задыхаясь от смеха, снова повторил Хмыз.

— И чего ты каркаешь, губошлеп? — возмущенно сказал раколов.— Не пройдет, не пройдет, а он потихоньку продвигается. Слышь, половица скрипнула, а ты — «не пройдет». Как это не пройдет? Очень даже просто пройдет!

Копытовский предупреждающе сказал:

— Тише! Тут главное — тишина и храп.

— Ну, храпу тут хватает...

— Тут главное — маскировка и тишина. Если и не спишь от голоду, то делай вид, что спишь.

— Какая тут маскировка, когда в животе так бурчит, что, наверное, на улице слышно, — грустно сказал раколов. — Вот живоглоты, вот куркули проклятые! Бойца — и не покормить, это как? Да, бывало, в Смоленской области — там тебе последнюю картошку баба отдаст, а у этих снега среди зимы не выпросишь! У них и колхоз-то, наверное, из одних бывших кулаков... Продвигается он или нет? Что-то не слышно.

— Выдвинулся на исходные позиции, но все равно он не пройдет! — со смешком зашептал Хмыз.

— Вас, молодой человек, окончательно испортила фронтовая обстановка. Вы неисправимы, как я вижу, — возмущенно сказал Акимов.

— А ну, кончай разговоры! — сипло зашептал старшина.

— И чего он шипит, как гусак на собаку? Дело его стариковское, лежал бы себе да посапливал в две отвертки... Не старшина у нас, а зверь на привязи...

— Я тебе завтра покажу зверя! Ты думаешь,

я тебя по голосу не узнал, Некрасов? Как ты голос не меняй, а я тебя все равно узнаю!

Минуту в горнице держалась тишина, нарушаемая разноголосым храпом, потом раколов с нескрываемой досадою проговорил:

— Не продвигается! И чего он топчется на исходных? О, зараза! Он пока выйдет на линию огня, — всю душу из нас вымотает! О господи, послали же такого торопыгу. К утру он, может, и доползет до сеней...

Еще немного помолчали, и снова раколов, уже с отчаянием в голосе, сказал:

— Нет, не продвигается! Залег, что ли? И чего бы он залег? Колючую проволку она протянула перед кухней, что ли?

Окончательно выведенный из терпения, старшина приподнялся:

— Вы замолчите нынче, вражьи сыны?

— О господи, тут и так лежишь, как под немецкой ракетой... — чуть слышно прошептал раколов и умолк: широченная ладонь Копытовского зажала ему рот.

В томительном ожидании прошло еще несколько долгих минут, а затем на кухне зазвучал возмущенный голос хозяйки, послышалась короткая возня, что-то грохнуло, со звоном разлетелись по полу осколки какой-то разбитой посудины, и хлестко ударилась о стену дверь, ударилась так, что со стен, шурша, посыпалась штукатурка и, жалобно звякнув, остановились суетливо тикавшие над сундуком ходики.

Спиною отворив дверь, Лопахин ввалился в горницу, пятясь, сделал несколько быстрых и неверных шагов и еле удержался на ногах, коекак остановившись посредине горницы...

Старшина с юношескою проворностью вскочил, зажег керосиновую лампу, приподнял ее над головой. Лопахин стоял, широко расставив ноги. Иссиня-черная, лоснящаяся опухоль затягивала его правый глаз, но левый блестел ликующе и ярко. Все лежавшие на полу бойцы привстали, как по команде. Сидя на разостлан-

ных шинелях, они молча смотрели на Лопахина и ни о чем не спрашивали. Да, собственно, и спрашивать-то было не о чем: запухший глаз и вздувшаяся на лбу шишка, величиной с куриное яйцо, говорили красноречивее всяких слов...

— Александр Македонсков! Мелкая блоха! Ну, как, скушал нежданку? — уничтожающе процедил сквозь зубы бледный от злости старшина.

Лопахин помял в пальцах все увеличивавшуюся в размерах шишку над правой бровью, беспечно махнул рукой:

— Непредвиденная осечка! Но зато, братцы, до чего же сильна эта женщина! Не женщина, а просто прелесть! Таких я еще не видывал. Боксер первого класса, борец высшей категории! Слава богу, я на обушке воспитывался, силенка в руках есть, мешок в центер весом с земли подыму и унесу, куда хочешь, а она схватила меня за ногу повыше колена и за плечо, приподняла и говорит: «Иди, спи, Петр Федотович, а то в окно выброшу!» — «Ну, это,— говорю ей,— мы еще посмотрим». Ну, и посмотрел... Проявил излишнюю активность, и вот вам, пожалуйста... — Лопахин, морщась от боли, снова помял угловатую, лиловую шишку над бровью, сказал: — Да ведь это удачно так случилось, что я спиною о дверь ударился, а то ведь мог весь дверной косяк на плечах вынести. Ну, вы как хотите, а я — если живой останусь — после войны приеду в этот хутор и у лейтенантика эту женщину отобью! Это же — находка, а не женщина!

— А как же теперь овца? — удрученным голосом спросил Некрасов.

Взрыв такого оглушительного хохота был ему ответом, что Стрельцов испуганно вскочил и спросонок потянулся к лежавшему в изголовье автомату.

— А находка твоя завтра кормить нас будет? — сдерживая бешенство, спросил старшина.

Лопахин жадно пил теплую воду из фляжки и, когда опорожнил ее, — спокойно ответил:

— Сомневаюсь.

— Так чего же ты трепался и головы нам морочил?

— А что ты от меня хочешь, товарищ старшина? Чтобы я еще раз сходил к хозяйке? Предпочитаю иметь дело с немецкими танками. А уж если тебе так не терпится — иди сам. Я заработал одну шишку, а тебе она насажает их дюжину, будь спокоен! Что ж, может, проводить тебя до кухни?

Старшина плюнул, вполголоса выругался и стал натягивать гимнастерку. Одевшись и ни к кому не обращаясь, он угрюмо буркнул:

— Пойду до председателя колхоза. Без завтрака не выступим. Не могу же я являться по начальству и сразу просить: покормите нас, босяков. Вы тут поспокойнее, я скоро обернусь.

А Лопахин лег на свое место, закинул руки за голову, с чувством исполненного долга сказал:

— Ну, теперь можно и спать. Атака моя отбита. Отступил я в порядке, но понеся некоторый урон, и, ввиду явного превосходства сил противника, наступления на этом участке не возобновляю. Знаю, что смеяться надо мной вы будете, ребята, теперь месяца два — кто проживет эти два месяца, — об одном прошу: начинайте с завтрашнего утра, а сейчас — спать!

Не дожидаясь ответа, Лопахин повернулся на бок и через несколько минут уже спал крепким, по-детски беспробудным сном.

* * *

Рано утром Копытовский разбудил Лопахина:

— Вставай завтракать, мелкая блоха!

— Какая же он — блоха? Он — Александр Македонский,— сказал Акимов, чистой тряпицей тщательно вытирая алюминиевую ложку.

— Он — покоритель народов и гроза женщин,— добавил Хмыз.— Но вчера он не прошел, хотя я его об этом и предупреждал.

— На такого покорителя понадейся, с голоду подохнешь! — сказал Некрасов.

Лопахин открыл глаза, приподнялся. Левый глаз его смотрел, как всегда, бойко и весело, правый, окаймленный синеватой припухлостью, еле виднелся, посверкивая из узко прорезанной щели.

— Ну и приголубила она тебя! — Копытовский фыркнул и отвернулся, боясь рассмеяться.

Лопахин отлично знал, что единственным спасением от насмешек товарищей послужит только молчание. Насвистывая, с видом абсолютно равнодушным, он достал из вещевого мешка полотенце и крохотный обмылок, вышел на крыльцо. Бойцы, умываясь, толпились возле колодца, а в примыкавшем к дому садике на траве были разостланы плащ-палатки, и на них густо стояли котелки, тарелки, миски. Неподалеку жарко горел костер. На железном пруте над огнем висел большой бригадный котел. Нарядная хозяйка поправляла огонь, склоняясь могучим станом, помешивала в котле деревянной ложкой.

Все это было как во сне. Лопахин ошалело поморгал, протер глаза. «Явная чертовщина!» — подумал он, но тут ноздри его уловили запах мясной похлебки, и Лопахин, пожав плечами, сошел с крыльца. Остановившись у костра, он галантно раскланялся:

— Доброе утро, Наталья Степановна!

Хозяйка выпрямилась, метнула быстрый взгляд и снова наклонилась над котлом. Розовая краска заливала ее щеки, и даже на полной белой шее проступили красные пятна.

— Здравствуйте,— тихо сказала она.— Уж вы меня извиняйте, Петр Федотович... Синяк-то у вас нехорош... Небось товарищи слыхали ночью?

— Это пустое,— великодушно сказал Лопахин.— Синяки украшают лицо мужчины. Надо бы вам, конечно, немного поаккуратнее кулаками орудовать, но теперь уже ничего не поделаешь. А за меня не беспокойтесь, заживет, как на ми-

леньком. Собака пойдет — кость найдет, вот и я к вам ночушкой сходил — синяк с шишкой нашел. Наше дело, Наталья Степановна, жениховское...

Хозяйка снова выпрямилась, посмотрела на Лопахина ясным взглядом, сурово сдвинула густые, рыжеватые брови.

— В том-то и беда, что в женихах ходите. Вы думаете, если муж в армии, так жена у него подлюка? Вот и пришлось, Петр Федотович, кулаками доказывать, какие мы есть, благо силушкой меня бог не обидел...

Лопахин опасливо скосил зрячий глаз на сжатые кулаки хозяйки, спросил:

— Извиняюсь, конечно, за нескромность, но все-таки скажите: каков ваш муженек? Ну, какого он роста из себя?

Хозяйка смерила Лопахина взглядом, улыбнулась:

— А такого же, как вы, Петр Федотович, немного только потушистее.

— Наверное, обижали вы его? В зятьях он у вас жил?

— Что вы! Что вы, Петр Федотович! Мы с ним жили душа в душу.

Пухлые, румяные губы женщины дрогнули. Она отвернулась и кончиком платка смахнула со щеки слезинку, но тотчас же лукаво улыбнулась и, глядя на Лопахина увлажненными глазами, сказала:

— Лучше моего на белом свете нету! Он у меня — хороший человек, работящий, смирный, а как только вина нахлебается — лихой становится. Но я к участковому милиционеру жаловаться не хаживала: начнет буянить — и я скоро с ним управлялась; больно не бивала, а так, любя... Сейчас он в Куйбышеве, в госпитале после ранения лежит. Может, после на поправку домой пустят?

— Обязательно пустят,— уверил Лопахин.— А по какому случаю, Наталья Степановна, у вас

затевается завтрак на всю нашу бражку? Что-то я не пойму...

— Тут и понимать нечего. Если бы вы вчера толком объяснили нашему председателю, что эта ваша часть позавчера билась с немцами на хуторе Подъемском,— вас еще вчера накормили бы. А то ведь мы, бабы, думаем, что вы опрометью бежите, не хотите нас отстаивать от врага, ну сообща и порешили про себя так: какие от Дона бегут в тыл,— ни куска хлеба, ни кружки молока не давать им, пускай с голоду подыхают, проклятые бегунцы! А какие к Дону идут, на защиту нашу,— кормить всем, что ни спросят. Так и делали. А про вас мы не знали, что это вы на Подъемском бились. Позавчера колхозницы нашего колхоза подвозили снаряды к Дону, вернулись оттуда и рассказывали: «Наших родненьких,— говорят,— много побито было на той стороне Дона, но и немцев на бугре наклали, лежат, как дрова в поленнице». Знатье, что это вы там бой принимали, по-другому бы и встретили вас. Старший ваш, рыженький, седенький такой старичок, ночью к председателю ходил, рассказал ему, как вы жестоко сражались. Ну, гляжу— на рассвете председатель чуть не рысью к моему двору поспешает. «Промашка,— говорит,— вышла, Наталья. Это — не бегунцы,— говорит,— а герои. Режь сейчас же курей, вари им лапшу, чтобы эти ребята были накормлены досыта». Рассказал мне, как вы оборонялись на Подъемском, сколько потерей понесли, и я сейчас же лапшу замесила, восемь штук курей зарубила и — в котел их. Да разве нам для наших дорогих защитников каких-то несчастных курей жалко? Да мы все отдадим, лишь бы вы немца сюда не допустили! И то сказать, до каких же пор будете отступать? Пора бы уж и упереться... Вы не обижайтесь за черствое слово, но срамотно на вас глядеть...

— Выходит так, что не тот ключик к вашему замку мы подбирали? — спросил Лопахин.

— Выходит, что так,— улыбнулась хозяйка.

Лопахин крякнул от досады, махнул рукой и пошел к колодцу. «Что-то не везет мне на любовь последнее время»,— с грустью вынужден был признать он, шагая по тропинке.

* * *

Командир дивизии полковник Марченко, раненный под Серафимовичем в предплечье и голову, в это утро, после перевязки, выпил стакан крепкого чаю, прилег отдохнуть. От потери крови и бессонных ночей все эти дни после ранения он чувствовал непроходящую слабость и болезненную, бесившую его сонливость. Однако едва лишь овладело им короткое забытье,— в дверь кто-то негромко, но настойчиво постучался. Не ожидая разрешения, в полутемную комнату вошел начштаба майор Головков.

— Ты не спишь, Василий Семенович? — спросил он.

— Нет, а что ты хотел?

Преждевременно полнеющий, бочковатый и низкорослый Головков быстрыми шагами подошел к окну, снял пенсне и, протирая его носовым платком, стоя спиной к Марченко, сказал дрогнувшим голосом:

— Прибыл тридцать восьмой...

— А-а-а...— Марченко резко приподнялся на койке и со скрежетом стиснул зубы: острая боль в височной кости чуть не опрокинула его навзничь.

Он снова прилег, собрал все силы, спросил чужим и далеким голосом:

— Как же?..

И откуда-то издалека дошел до его слуха знакомый голос Головкова:

— Двадцать семь бойцов. Из них пятеро легко раненных. Привел старшина Поприщенко. Большинство — из второго батальона. Материальная часть — ты знаешь... Знамя полка сохранено. Люди ждут в строю.— И совсем близко, над ухом: — Вася, ты не вставай. Приму я. Не

вставай же, чудак, тебе худо! Ты белый, как стенка. Ну, разве можно так?!

Несколько минут Марченко сидел на койке, тихо покачиваясь, положив смуглую руку на забинтованную голову. На правом виске его густо высыпали мелкие росинки пота. Последним усилием воли он поднял свое большое костистое тело, твердо сказал:

— Я выйду к ним. Ты знаешь, Федор, под этим знаменем я прослужил до войны восемь лет... Я сам к ним выйду.

— Не упадешь, как вчера?

— Нет,— сухо ответил Марченко.

— Может быть, поддержать тебя под локоть?

— Нет. Пойди, скажи — рапорта не надо. Знамя расчехлить.

С крыльца Марченко сходил, медленно и осторожно ставя ноги на шаткие ступеньки, придерживаясь рукою за перила, и когда грузно ступил на землю,— в строю глухо и согласно щелкнули двадцать семь пар стоптанных солдатских каблуков.

Как слепой, сначала на носок, а затем уже на всю подошву ставя ногу, полковник тихо подходил к строю. Старшина Поприщенко молча шевелил губами. В немой тишине слышно было сдержанно взволнованное дыхание бойцов и шорох песка под ногами полковника.

Остановившись, он оглядел лица бойцов одним незабинтованным и сверкавшим, как кусок антрацита, черным глазом, неожиданно звучным голосом сказал:

— Солдаты! Родина никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий. Спасибо за то, что сохранили святыню полка — знамя.— Полковник волновался и не мог скрыть волнения: правую щеку его подергивал нервный тик. Выдержав короткую паузу, он заговорил снова: — С этим знаменем в 1919 году на Южном фронте сражался полк с деникинскими бандами. Это знамя видел на Сиваше товарищ Фрунзе. Раз-

вернутым это знамя многократно видели в бою товарищи Ворошилов и Буденный...

Полковник поднял над головой сжатую в кулак смуглую руку. Голос его, исполненный страстной веры и предельного напряжения, вырос и зазвенел, как туго натянутая струна:

— Пусть враг временно торжествует, но победа будет за нами!.. Вы принесете ваше знамя в Германию! И горе будет проклятой стране, породившей полчища грабителей, насильников, убийц, когда в последних сражениях на немецкой земле развернутся алые знамена нашей... нашей великой Армии-Освободительницы!.. Спасибо вам, солдаты!

Ветер тихо шевелил потускневшую золотую бахрому на малиновом полотнище, свисавшем над древком тяжелыми, литыми складками. Полковник тихо подошел к знамени, преклонил колено. На секунду он качнулся и тяжело оперся пальцами правой руки о влажный песок, но, мгновенно преодолев слабость, выпрямился, благоговейно склонил забинтованную голову, прижимаясь трепещущими губами к краю бархатного полотнища, пропахшего пороховой гарью, пылью дальних дорог и неистребимым запахом степной полыни...

Сжав челюсти, Лопахин стоял не шевелясь, и лишь тогда, когда услышал справа от себя глухой, задавленный всхлип,— слегка повернул голову: у старшины, у боевого служаки Поприщенко вздрагивали плечи и тряслись вытянутые по швам руки, а из-под опущенных век торопливо бежали по старчески дряблым щекам мелкие, светлые слезы. Но, покорный воле устава, он не поднимал руки, чтобы вытереть слезы, и только все ниже и ниже клонил свою седую голову...

*1942—1949—1969*

**Шолохов М. А.**

Ш78 Они сражались за Родину.: Главы из романа.—Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1979.— 256 с., ил.— (Подвиг Сталинграда).

Героическому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне посвящается книга М. А. Шолохова.

$\frac{\text{Ш70302—006}}{\text{М151(03)—79}}$ 34—79 Р2

Михаил Александрович Шолохов

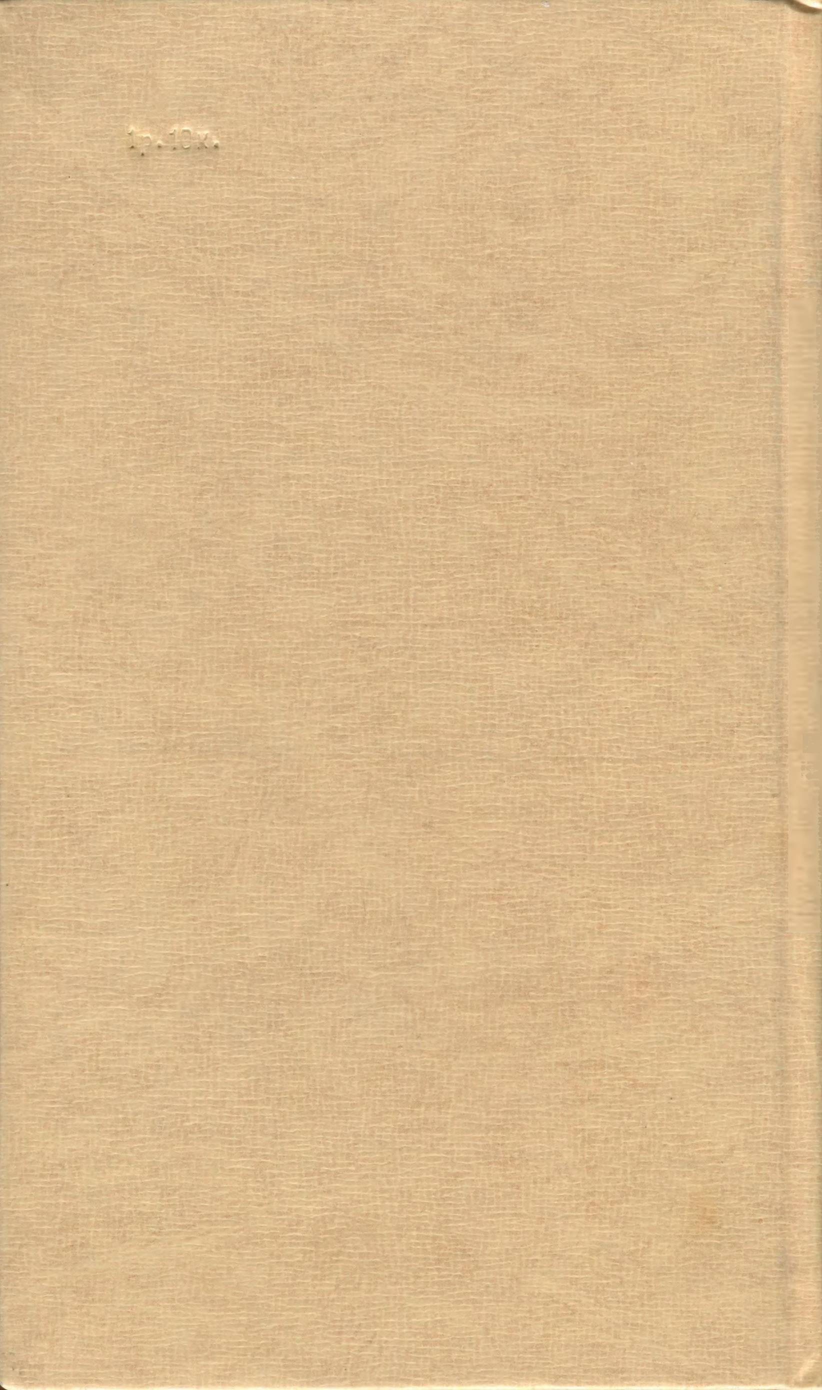
# ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Редактор **В. В. Макеев**
Худож. редактор **В. И. Волкин**
Техн. редактор **З. З. Чигарева**
Корректоры **О. И. Молоканова, Т. У. Климова, Л. А. Лукина**

**ИБ № 295**

Сдано в набор 12.06.78. Подписано к печати 6.03.79. Формат 84×100 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная. Высокая печать. Печ. л. физ. 8. Печ. л. усл. 12,48. Уч.-изд. л. 11,48. Тираж 100 000. Заказ 197. Цена 1 р. 10 к.

Нижне-Волжское книжное издательство
400004, Волгоград, ул. Невская, 6
Типография издательства «Волгоградская правда»
Волгоград, Привокзальная площадь


1р. 10к.